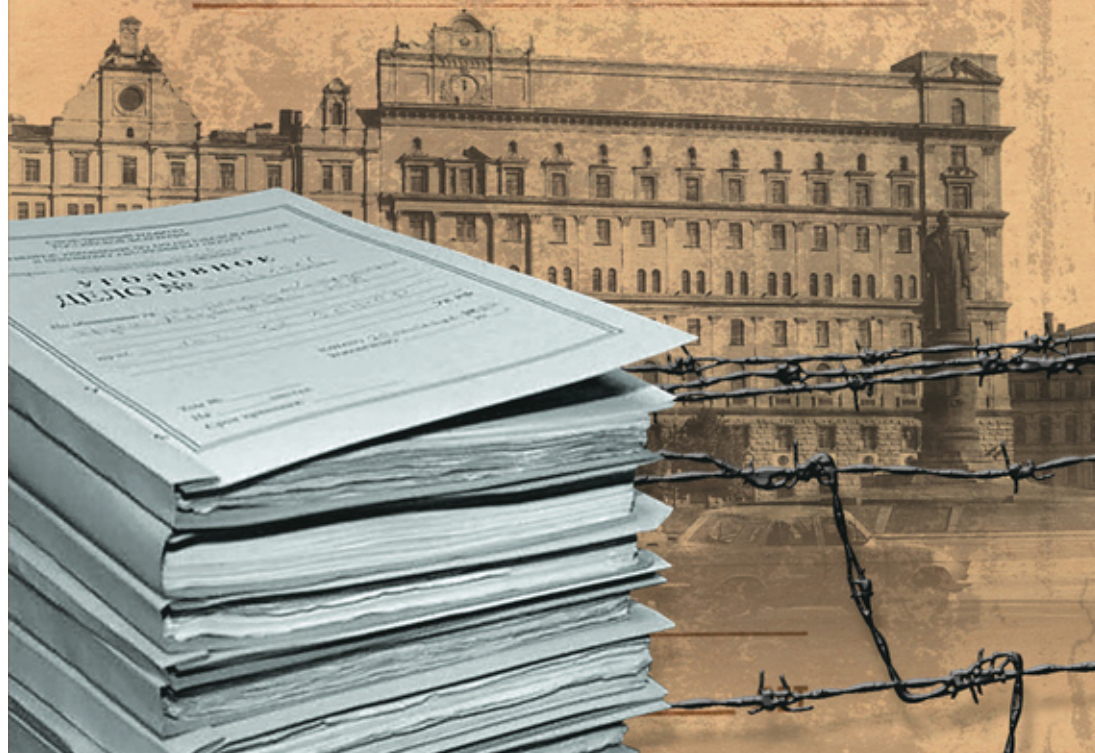


ГРИФ СЕКРЕТНОСТИ СНЯТ

ДЕЛО № 13-027

СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ НКВД—КГБ

Борис Сопельняк



Гриф секретности снят

Борис Сопельняк

Секретные архивы НКВД-КГБ

«ВЕЧЕ»

2013

УДК 94(47)
ББК 63.3

Сопельняк Б. Н.

Секретные архивы НКВД-КГБ / Б. Н. Сопельняк —
«ВЕЧЕ», 2013 — (Гриф секретности снят)

В 1934 году ОГПУ было преобразовано в НКВД. Только за 1937–1938 годы было арестовано полтора миллиона человек, из них около 800 тысяч расстреляно. В 1954-м мрачное здание на Лубянке снова поменяло вывеску и стало называться Комитетом государственной безопасности – КГБ. Самое странное, что под чекистский меч попадали не только так называемые диссиденты, но и писатели, музыканты, художники и другие деятели искусства, которые, при всем желании, не могли свергнуть советскую власть. Именно поэтому авторитет КГБ в народе был крайне низок, и именно поэтому все облегченно вздохнули, когда в декабре 1991 года Комитет государственной безопасности был упразднен и как таковой перестал существовать.

УДК 94(47)
ББК 63.3

© Сопельняк Б. Н., 2013
© ВЕЧЕ, 2013

Содержание

От автора	5
Расстрелянный театр	6
Прозрение	12
«Мейерхольд самобытен... я даже думаю, что он гениален»	19
Две пули для двух сердец	23
Тюремные очерки Кольцова	27
Каждый писатель должен быть разведчиком	31
Его показания родились из-под палки	35
Как отливали вторую пулю	37
Голгофа красных дипломатов	40
От Бреста до Стамбула	41
Девятый арест	44
«Пусть Сталин сперва завоюет доверие»	47
Болгарский след в русской дипломатии	51
«Предпочитаю жить на хлебе и воде, но на свободе»	55
Крестный путь Якова Джугашвили	60
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Секретные архивы НКВД – КГБ

Борис Сопельняк

От автора

В предыдущем томе «Секретных архивов» мы рассматривали скрытую от народа деятельность самого страшного и самого кровавого монстра всех времен и народов под названием ВЧК – ОГПУ. За семнадцать лет своего существования это зловещее чудовище пролило столько крови, уничтожило столько достойнейших людей России, что эти потери мы ощущаем до сих пор.

В 1934-м ОГПУ было преобразовано в НКВД во главе с Генрихом Григорьевичем Ягодой (на самом деле Енохом Гершеновичем Иегудой). За два года руководства НКВД Ягода наломал немало дров, но по сравнению с тем, что натворил сменивший его Николай Ежов, это были, если так можно выразиться, цветочки. Время «ежовщины» – это время невиданного размаха репрессий. Судите сами: только за 1937–1938 годы было арестовано полтора миллиона человек, из них около 800 тысяч расстреляно.

Сменивший его на посту руководителя НКВД Лаврентий Берия был достойным продолжателем дела своих предшественников: аресты и расстрелы продолжались в тех же чудовищных масштабах. Одно дело, когда судили Бухарина, Сокольникова или Тухачевского – хотя бы теоретически они могли представлять угрозу для обитателей Кремля, и совсем другое, когда в застенках Лубянки оказывались такие люди, как Всеволод Мейерхольд, Михаил Кольцов, Лидия Русланова, Зоя Федорова и даже несовершеннолетние мальчишки и девочки.

В 1954-м мрачное здание на Лубянке снова поменяло вывеску и стало называться Комитетом государственной безопасности – КГБ. Задачи, которые поставила партия перед КГБ, на первый взгляд, были возвышенны и благородны: «В кратчайший срок ликвидировать последствия вражеской деятельности Берии и добиться превращения органов государственной безопасности в острое оружие партии, направленное против действительных врагов нашего социалистического государства, а не против честных людей».

Как ни грустно об этом говорить, но КГБ прославился не только блестяще проведенными операциями против шпионов и террористов, но и жестоким преследованием всех, кто устно или письменно выражали сомнения в гениальности линии партии или богоизбранности обитателей Кремля.

Самое странное, под чекисткий меч (а я напомним, что символом этой организации являются щит и меч) попадали не только так называемые диссиденты, но и писатели, музыканты, художники и другие деятели искусства, которые, при всем желании, не могли свергнуть советскую власть. Именно поэтому авторитет КГБ в народе был крайне низок, и именно поэтому все облегченно вздохнули, когда в декабре 1991 года Комитет государственной безопасности был упразднен и как таковой перестал существовать.

Расстрелянный театр

Не только история русского театра двадцатого века, но и история мирового театра немыслима без Мейерхольда. То новое, что этот великий мастер внес в театральное искусство, живет в прогрессивном театре мира, и будет жить всегда.

Назым Хикмет

Как жаль, что эти слова великого поэта о великом мастере театрального искусства были сказаны в 1955-м, а не пятнадцатью годами раньше! Как жаль, что вклад Мейерхольда в прогрессивный театр мира признан лишь теперь, а не в довоенные годы, когда Всеволод Эмильевич жил и творил!

Прозвучи эти слова тогда, подпишись под ними все те, кто его хорошо знал и работал с ним бок о бок, прояви они гражданское мужество тогда, а не пятнадцатью годами позже, возможно, и не было бы дела № 537, утвержденного лично Берией и закончившегося приговором, подписанным Ульрихом: «Мейерхольд-Райха Всеволода Эмильевича подвернуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества».

Чем объясняется невероятная спешка, связанная с арестом Мейерхольда, что за ветры подули в коридорах Лубянки, сказать трудно, но столичные энкавэдешники даже не стали ждать возвращения Всеволода Эмильевича в Москву, а приказали арестовать его ленинградским коллегам. 20 июня 1939 года его взяли прямо в квартире на набережной Карповки. О том, как это случилось, рассказывает его давний знакомый Ипполит Александрович Романович.

– Я был последним, кто видел Мейерхольда на свободе, – вспоминает он. – Я расстался с ним в четыре часа утра. Последнюю в своей нормальной жизни ночь он провел в квартире у Юрия Михайловича Юрьева. Их дружба-любовь началась еще со времен работы над «Дон Жуаном» в Александрийском театре.

Накануне вечером Всеволод Эмильевич пришел к Юрьеву поужинать. Он был мрачен и почему-то все время расспрашивал о лагере, вдавался в детали жизни заключенных. На рассвете Всеволод Эмильевич и я вышли из квартиры Юрьева. В руках Мейерхольд держал бутылку белого вина и два бокала – для себя и для меня. Мы устроились с бутылкой на ступеньках лестницы и продолжали тихо говорить о том о сем, в том числе снова о лагере и о тюрьме. Меня внезапно охватило странное чувство: мне захотелось поцеловать руку Мастера. Но я устыдился своего порыва и, смущенно откланявшись, пошел наверх, – закончил Ипполит Александрович.

А через несколько часов будущего врага народа посадили в спецвагон и, проведя осмотр на «загрязнения и вшивость», под усиленным конвоем отправили в Москву.

На следующий день начальник тюрьмы, врач и конвоир подписали акт, что «произведена санобработка и дезинфекция вещей арестованного, согласно его осмотра и личного опроса загрязнения и вшивости у него не имеется», посадили будущего врага народа в вагон и под усиленным конвоем отправили в Москву.

Юридическим обоснованием этой акции было постановление на арест, подписанное Лаврентием Берией и его правой рукой в такого рода делах начальником следственной части Богданом Ко-буловым. (В 1953-м оба будут арестованы, приговорены к высшей мере наказания и в один день и час расстреляны. – Б.С.).

Вчитайтесь в эти строки, и вы поймете не только то, как сочинялись такие документы, но и кто этим занимался, – ведь Берия и его ближайшее окружение лишь подписывали эти бумаги, тем самым благословляя на кровавый беспредел палачей рангом ниже.

«Я, капитан государственной безопасности Голованов, нашел: имеющимся агентурным и следственным материалом Мейерхольд В.Э. изобличается как троцкист и подозрителен по шпионажу в пользу японской разведки.

Установлено, что в течение ряда лет Мейерхольд состоял в близких связях с руководителями контрреволюционных организаций – Бухариным и Рыковым.

Арестованный японский шпион Йошида Йошимасу еще в Токио получил директиву связаться в Москве с Мейерхольдом. Установлена также связь Мейерхольда с британским под данным по фамилии Грей, высланным в 1935 году из Советского Союза за шпионаж.

Исходя из вышеизложенного, постановил: Мейерхольда-Райх Всеволода Эмильевича арестовать и провести в его квартире обыск».

Приезда Мейерхольда в Москву ждать не стали и к обыску в Брюсовском переулке, где он жил вместе со своей женой Зинаидой Райх, приступили немедленно. Зинаида Николаевна была женщиной темпераментной, права свои знала, поэтому стала горой на пороге своей комнаты: «В бумагах и вещах мужа рыться можете, а в моих – нет! К тому же в ордере на обыск мое имя отсутствует».

Произошел скандал, закончившийся чуть ли не рукоприкладством. Во всяком случае, младшему лейтенанту Власову пришлось отчитываться перед начальством и писать рапорт, в котором он, само собой разумеется, всю вину перекладывает на хрупкие плечи женщины. При этом лейтенант, как советский офицер и истинный поклонник прекрасного, не может не бросить тень на известную всей стране актрису. «Во время обыска жена арестованного очень нервничала, – пишет лейтенант, – при этом заявляя, что мы не можем делать обыска в ее вещах и документах. Сказала, что напишет на нас жалобу. Сын стал успокаивать ее: “Мама, ты так не пиши и не расстраивайся, а то опять попадешь в психиатрическую больницу”».

А Всеволода Эмильевича бросили в печально известную Внутреннюю тюрьму, которую в народе называли «нутрянкой». Там все начиналось с заполнения анкеты арестованного. Вот она, эта кричащая от жуткой боли анкета. Я держу ее в руках, и, видит Бог, не могу унять дрожь в пальцах – ведь этот леденящий кровь документ был пропуском в самый настоящий ад, тот ад, где били и пытали, где драли и полосовали, где калечили и терзали, а потом и убивали.

Из этой анкеты мы узнаем, что Всеволод Эмильевич родился в 1874 году в Пензе, по национальности – немец, образование – среднее. Отец, который был купцом, умер, мать – тоже. Жена – Зинаида Райх, актриса. Дети – Есенина Татьяна, 21 год, и Константин, 19 лет. И Татьяна, и Константин – дети Зинаиды Райх от ее брака с Сергеем Есениным. Всеволод Эмильевич – член ВКП (б) с 1918 года. Место работы – Государственный оперный театр имени Станиславского, должность – главный режиссер.

Через несколько дней начались допросы. Они шли днем и ночью, причем, как позже выяснится, очень жесткие, а порой и жестокие. Уже через неделю следователи добились весьма ощутимых результатов: Мейерхольда вынудили написать собственноручное заявление самому Берии. Вот что написал и подписал Мейерхольд 27 июня 1939 года:

«Признаю себя виновным в том, что, во-первых: в годах 1923–1925 состоял в антисоветской троцкистской организации, куда был завербован неким Рафаилом. Сверхвредительство в этой организации с совершенной очевидностью было в руках Троцкого. Результатом этой преступной связи была моя вредительская работа на театре (одна из постановок была посвящена Красной Армии и “первому красноармейцу Троцкому” – “Земля дыбом”).

Во-вторых. В годы приблизительно 1932–1935 состоял в антисоветской правотроцкистской организации, куда был завербован Милютиной. В этой организации состояли Милютин, Радек, Бухарин, Рыков и его жена.

В-третьих. Был привлечен в шпионскую работу неким Фредом Греем (английским подданным), с которым я знаком с 1913 года. Он уговаривал меня через свою жену, которая была моей ученицей, бросить СССР и переехать либо в Лондон, либо в Париж.

Результатом этой связи были следующие преступные деяния в отношении моей Родины:

а) Я дал Грею рекомендательную записку на знакомство с зам. председателя наркомфина Манцевым, прося последнего принять Грея.

б) Я организовал Грею по его просьбе свидание с Рыковым в моей квартире.

в) Я дал Грею рекомендацию на его ходатайство о продлении визы на долгое проживание в СССР.

Подробные показания о своей антисоветской, шпионской и вредительской работе я дам на следующих допросах».

В принципе следствие можно было заканчивать и дело закрывать, так как Всеволод Эмильевич признался практически во всем, что ему вменялось в вину. Правда, он забыл, что является еще и японским шпионом, но ему об этом очень скоро напомнят.

И все же следствие решило выяснить детали, касающиеся вредительской деятельности Мейерхольда в области искусства.

– На предыдущем допросе вы заявили, что в течение ряда лет были двурушником и проводили антисоветскую работу. Подтверждаете это?

– Да, поданное мною на прошлом допросе заявление подтверждаю, – заверил Мейерхольд. – В антисоветскую группу я был вовлечен неким Рафаилом, который руководил Московским отделением народного образования и одновременно Театром Революции, директором которого являлась Ольга Давыдовна Каменева (Розенфельд) – жена врага народа Каменева и сестра иудушки Троцкого. Я же был заведующим художественной частью и режиссером этого театра. В то время я познакомился со статьями Троцкого в его книге о культурном фронте и не только впитал распространяемые в ней идеи, но и отображал на протяжении всей своей дальнейшей работы.

– Почему эта вражеская книга оказала на вас такое влияние?

– Потому что Троцкий восхвалял в ней и меня. Он называл меня «неистовым Всеволодом», чем сравнивал с неистовым Виссарионом Белинским. Что касается Рафаила, то он хорошо знал о моих антисоветских настроениях и щедро отпускал средства на мои постановки в Театре Революции.

– Стало быть, троцкисты поддерживали вас материально за то, что вы проводили по их установкам вражескую работу?

– Да, это было именно так. Моя антисоветская вредительская работа заключалась в нарушении государственной установки строить искусство, отражающее правду и не допускающее никакого искажения. Я эту установку настойчиво и последовательно нарушал, строя, наоборот, искусство, извращающее действительность.

– Только по линии руководимого вами театра?

– Нет. Наряду с этим я старался подорвать основы академических театров. Особенно сильный удар я направлял в сторону Большого театра и МХАТа, и это несмотря на то, что они были взяты под защиту самим Лениным. После 1930 года моя антисоветская работа еще более активизировалась, так как я возглавил организацию под названием «Левый фронт», охватывающую театр, кино, музыку, литературу и живопись. Мое антисоветское влияние распространялось не только на таких моих учеников, как Сергей Эйзенштейн, Василий

Федоров, Эраст Гарин, Николай Охлопков, Александр Нестеров, Наум Лойтер, но и на ряд представителей других искусств.

– Кто эти лица? Назовите их! – настойчиво потребовал следователь.

И Мейерхольд назвал. Понимал ли он, что делает? Отдавал ли себе отчет в том, что по каждому названному имени тут же начнется оперативная разработка, что каждый из его друзей может оказаться в соседней камере? Мы еще получим ответы на эти вопросы, а пока что он – воспользуемся тюремным жаргоном – безудержно колотся.

– Начну с кино. Здесь мое влияние распространялось на Сергея Эйзенштейна, который является человеком, озлобленно настроенным против советской власти. Нужно сказать, что он проводил и практическую подрывную работу. Хорошо известно, что советское правительство командировало его в Америку в надежде получить оборудование для творческой киностудии. Так вот, вместо того, чтобы работать в контакте с «Амторгом», он продался капиталисту Синклеру, в руках которого остался заснятый Эйзенштейном фильм. Вражеская работа Эйзенштейна выражалась еще и в том, что он пытался выпустить на экран антисоветский фильм «Бежин луг», но, к счастью, это ему не удалось, так как по указанию правительства съемка была прервана.

А мой выученик Эраст Гарин, израсходовав большие средства, сработал фильм «Женитьба» по Гоголю. Но эта картина, как искажающая классическое произведение, не была допущена до экрана.

Мой же выученик, режиссер Киевской киностудии Ромм, поставил фильм по сценарию Юрия Олеши «Строгий юноша», в котором было оклеветано советское юношество, и молодежь показана не как советская, но, по настроениям самого Олеши, с фашистским душком. По линии кино – это все, – перевел дух Мейерхольд.

– А на другие виды искусства ваше влияние не распространялось? – не унимался следователь.

– Конечно, распространялось! В живописи, например, под моим влиянием находился Давид Штернберг. Еще более антисоветски настроен мой бывший ученик художник Дмитриев. Что касается литературного фронта, то антисоветские разговоры, направленные против партии и правительства, я неоднократно вел с Борисом Пастернаком. Он вообще настолько озлоблен, что в последнее время ничего не пишет, а занимается только переводами. Аналогичные позиции занимает поэт Пяст. Вплоть до его ареста прямые антисоветские разговоры были и с писателем Николаем Эрдманом.

Много, очень много рассказал Всеволод Эмильевич, и народу сдал немало, но его следователь, лейтенант Воронин, этими всеобъемлющими показаниями был не удовлетворен. Почти целую неделю Мейерхольда не вызывали на допросы, но в покое его не оставили: с подследственным работали заплечных дел мастера. Результаты не замедлили сказаться.

– Намерены ли вы говорить правду до конца? – требовательно спросил лейтенант на следующем допросе.

– Да, конечно, – торопливо ответил Мейерхольд. – Я ничего не намерен скрывать, и расскажу не только о своей вражеской работе, но и выдам всех своих сообщников.

Именно этого и добивался следователь: ему нужно было сломать не только физически, но и морально не очень здорового 65-летнего деятеля искусств. Путаясь и сбиваясь, возвращаясь от одних событий к другим, Всеволод Эмильевич причисляет к антисоветски настроенным людям композиторов – Шостаковича, Шебалина, Попова и Книппера, прозаиков и поэтов – Сейфули-ну, Кирсанова, Брика, Иванова, Федина, а также многих актеров, художников и режиссеров.

Но самым злым гением был, конечно же, Илья Эренбург. Когда Всеволод Эмильевич заявил, что в троцкистскую организацию его вовлек именно Эренбург, следователь картинно усомнился:

– Не врете ли вы? Не оговариваете ли Илью Эренбурга?

– Нет, я говорю правду, – настаивал на своем Мейерхольд. – Илья Эренбург, как он сам мне говорил, является участником троцкистской организации, причем с весьма обширными связями не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В 1938 году он и французский писатель Андре Мальро были у меня на квартире и вели оживленную беседу на политические темы: они были уверены, что троцкистам удастся захватить власть в свои руки.

– А вы, лично вы, разделяли эти предательские вожеления? – уточняюще спросил следователь.

– Да, разделял. Именно поэтому Эренбург прямо поставил вопрос о моем участии в троцкистской организации, на что я дал свое согласие. Тогда же была сформулирована главная задача нашей организации: не отчаиваться в связи с арестами и пополнять свои ряды, чтобы добиться осуществления окончательной цели, то есть свержения советской власти.

– В этом направлении вы и действовали?

– Именно так. Больше того, я вовлек в нашу организацию и Пастернака, и Олешу, а несколько позже и Лидию Сейфулину. Ей я поручил антисоветскую обработку писательской молодежи, а Юрия Олешу мы хотели использовать для подбора кадров террористов, которые бы занимались физическим уничтожением руководителей партии и правительства. Насколько мне известно, именно с этой целью он вовлек в наши ряды ленинградского писателя Стенича и режиссера Большого драмтеатра Дикого. Насколько мне известно, впоследствии оба были разоблачены и арестованы органами НКВД.

– А в чем заключалась ваша антисоветская связь с Шостаковичем и Шебалиным?

– Шостакович не раз выражал свои озлобленные настроения против советского правительства. Он мотивировал это тем, что, мол, в европейских странах его произведения очень ценят, а здесь за них только прорабатывают. В связи с этим он выражал намерение выехать за границу и больше в Советский Союз не возвращаться. Что касается Шебалина, то он тоже был в большой обиде на партию и правительство в связи с отрицательной оценкой его формалистических произведений.

Потом пошел какой-то странный разговор о связях Мейерхольда с литовским послом Балтрушайтисом, которого он знал как писателя чуть ли не с прошлого века, о немце Хельде и литовце Михневичусе, которые стажировались в Театре Революции, о том, что к работе на английскую разведку его привлек не только Грей, но и Балтрушайтис, а потом он у себя дома познакомил двух матерых шпионов: «А то как-то неудобно, два английских шпиона – и не знакомы друг с другом».

Но самое удивительное признание Всеволод Эмильевич сделал на допросе, который состоялся 19 июля 1939 года.

– Я скрыл от следствия одно важное обстоятельство, – многообещающе начал он.

– Какое обстоятельство? – живо среагировал лейтенант Воронин.

– Я являюсь еще и агентом японской разведки. А завербовал меня Секи Сано, который работал в моем театре в качестве режиссера-стажера с 1933 по 1937 год.

Что касается японского следа, то это чудовищный самооговор. Доказательства – в том же деле № 537. Известно, что в те, как, впрочем, и в совсем недавние времена, ни один иностранец не оставался без внимания спецслужб. Под весьма серьезным колпаком находился и Секи Сано. За ним не только наблюдали, но составляли отчеты о его поведении в Стране Советов. На основании этих отчетов была составлена справка, что никаких данных о принадлежности Секи Сано к разведорганам не установлено, поэтому в 1937 году ему позволили выехать в Париж.

Гораздо сложнее обстояло дело с другим японцем – членом японской компартии и режиссером нескольких театров левацкого направления Йошидой Йошимасу. Своим идейным учителем он считал Мейерхольда, мечтал с ним познакомиться и не придумал ничего

лучшего, как пересечь советско-японскую границу нелегально. Йошимасу думал, что его, как коммуниста, встретят с распростертыми объятиями, но его задержали как самого обычного нарушителя границы и, стало быть, шпиона.

Допрашивали его, судя по всему, с пристрастием, потому что Йошимасу оговорил всех, кого знал и кого не знал. О Мейерхольде он, в частности, сказал, что Всеволод Эмильевич давно работает на японскую разведку, что в Токио он известен под псевдонимом «Борисов» и что совместно с Секи Сано «Борисов» ведет подготовку к теракту против Сталина, которого они намерены убить во время посещения театра.

И хотя на следующих допросах от этих показаний он отказался и заявил, что все это придумал со страху, его уже никто не слушал. Йошимасу вскоре расстреляли, а его показания подшили к делу Мейерхольда, которого без особого труда убедили, что он японский шпион.

Прозрение

На некоторое время Всеволода Эмильевича оставили в покое. Это не значит, что следствие было приостановлено, напротив, оно шло полным ходом, но, если так можно выразиться, на других витках. Следователи понимали, что, хотя, по советским законам, признание является матерью доказательства, суду этого будет мало, поэтому они добывали компромат и на стороне. Мы можем только догадываться, каким путем, но добыли же!

Скажем, проходивший по другому делу известнейший журналист Михаил Кольцов чуть ли не на первом допросе заявил, что одним из осведомителей французского разведчика Вожеля был Мейерхольд. Причислил его к членам антисоветской организации и не менее известный писатель Исаак Бабель.

А вот что сообщил бывший профсоюзный деятель Яков Боярский:

«Всемирно известно, что Мейерхольд – формалист. Но если бы только формалист! Мало кто помнит о таком вопиющем факте, что именно он готовил режиссерский план массового действия к 300-летию дома Романовых. Позже он солидаризировался с Троцким и вместе с ним защищал от критиков Есенина.

Пагубно влияет на Мейерхольда его жена актриса Зинаида Райх. Дошло до того, что однажды нарком просвещения Бубнов был вынужден пригласить ее к себе и сделать внушение, объяснив, как сильно она своим поведением вредит Мейерхольду».

Как видите, имя Зинаиды Райх в деле Мейерхольда упоминается не впервые – и все время со знаком «минус». Думаю, что настала пора рассказать об этой неординарной женщине и об этом странном, по мнению многих друзей дома, браке.

Родилась она двадцатью годами позже Всеволода Эмильевича в солнечной Одессе. Ее отцом был выходец из Силезии Николаус Райх. Будучи матросом, на одном из иностранных судов он попал в Одессу, встретил неотразимо прекрасную одесситку, тут же женился и навсегда остался на новой родине. От этого брака родилась ненаглядная Зинаида. После окончания гимназии, не найдя себе достойного применения в Одессе, Зинаида укатила в Петербург. Там она выучилась на машинистку, окончила женские курсы и в 1917-м поступила на работу в редакцию газеты «Дело народа».

И надо же так случиться, что часто захаживавший в редакцию Сергей Есенин смертельно влюбился в волоокую южанку. В конце лета, после совместной поездки к морю, они обвенчались. Как показало время, молодые явно поторопились: слишком разными они были людьми и слишком разные у них были представления о браке и семье. Все шло к разводу, не спасло даже рождение двух детей – Татьяны и Константина. В 1920-м Зинаида Райх, одна-одинешенька, с двумя детьми на руках, оказалась в Москве.

Есть несколько версий того, как она познакомилась с Мейерхольдом, но одна из них, как мне кажется, наиболее правдоподобной. Всеволод Эмильевич был давным-давно женат, у него трое взрослых дочерей, и вот однажды Екатерина Михайловна Мунт, актриса, прошедшая школу Александрийского театра и ставшая женой Мейерхольда еще тогда, когда они были студентами Филармонического училища, привела в дом Зинаиду Райх – в качестве то ли экономки, то ли компаньонки. Тогда же Зинаида стала студенткой Высших театральных мастерских, которыми руководил Мейерхольд.

В доме Зинаида стала просто незаменимой. Екатерина Михайловна переложила на нее большую часть забот, в том числе и главную – уход за мужем. Закончилось все это печально: летом 1922-го Всеволод Эмильевич развелся с матерью своих детей, стал мужем Зинаиды Райх и отчимом детей Есенина. И Татьяна, и Константин искренне полюбили Всеволода Эмильевича, а вот их мать... Скандалы и ссоры в доме не стихали ни на минуту. К тому

же Зинаида Райх без зазрения совести влезала в театральные дела мужа, всячески обостряя конфликты с актерами.

Люди начали уходить из театра. Покинула мастера даже одна из его лучших учениц – Мария Бабанова. И тогда Мейерхольд начал соразмерять свои творческие замыслы с артистическими возможностями Зинаиды Райх, которые, как показало время, были совсем невелики.

Это было началом конца. После прогремевшей в 1934 году постановки «Дамы с камелиями» у Мейерхольда настал период провалов и неудач, завершившийся закрытием театра. Постановление о ликвидации театра имени Мейерхольда было опубликовано в январе 1938 года. Этот документ настолько красноречив и характерен для того времени, что, мне кажется, стоит привести его полностью.

«Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР издал приказ о ликвидации театра им. Мейерхольда.

Комитет по делам искусств признал, что театр им. Мейерхольда окончательно скатился на чуждые советскому искусству позиции и стал чуждым для советского зрителя. Это выразилось в том, что:

1. Театр им. Мейерхольда в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству, насквозь буржуазных, формалистических позиций. В результате этого, в угоду левацкому трюкачеству и формалистическим вывертам, даже классические произведения русской драматургии давались в театре в искаженном, антихудожественном виде, с искажениями их идейной сущности («Ревизор», «Горе уму», «Смерть Тарелкина» и др.).

2. Театр им. Мейерхольда оказался полным банкротом в постановке пьес советской драматургии. Постановка этих пьес давала извращенное, клеветническое представление о советской действительности, пропитанное двусмысленностью и даже прямым антисоветским злопыхательством («Самоубийца», «Окно в деревню», «Командарм-2» и др.).

3. За последние годы советские пьесы совершенно исчезли из репертуара театра. Ряд лучших актеров ушел из театра, а советские драматурги отвернулись от театра, изолировавшего себя от всей общественной и художественной жизни Союза.

4. К 20-летию Октябрьской революции театр им. Мейерхольда не только не подготовил ни одной постановки, но сделал политически враждебную попытку поставить пьесу Габриловича «Одна жизнь», антисоветски извращающую известное художественное произведение Н. Островского «Как закалялась сталь». Помимо всего прочего, эта постановка была злоупотреблением государственными средствами со стороны театра им. Мейерхольда, при- выкшего жить на государственные денежные субсидии.

Ввиду всего этого, Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР постановил:

- а) ликвидировать театр им. Мейерхольда как чуждый советскому искусству;
- б) труппу театра использовать в других театрах;
- в) вопрос о дальнейшей работе Вс. Мейерхольда в области театра обсудить особо».

Закрытие театра стало тяжелейшим ударом и для Мастера, и для его супруги. Зинаида Райх впала в тяжелую депрессию и месяцами не выходила из дома. Что касается Всеволода Эмильевича, то он без дела не остался: ему протянул руку Станиславский и пригласил в свой театр. Но все это было не то. К тому же многие понимали, что закрытием театра дело не ограничится: за «антисоветское злопыхательство» и за «клеветническое представление о советской действительности» рано или поздно придется отвечать.

Вокруг Всеволода Эмильевича мгновенно образовалась пустота. С ним перестали здороваться, его обходили стороной, не принимали приглашений заглянуть на чашку чая. Все понимали, что закрытием театра дело не ограничится – и оказались правы.

Но вот ведь как бывает, – кроме Станиславского нашелся еще один человек, который, хоть и из горних высей, но все же заступился за Мейерхольда. Эти человеком оказался Маяковский. Его авторитет в те годы был непререкаем, поэтому голос любимого вождя поэта внес немалую сумятицу в ход следствия. А выглядело это заступничество так. Как раз в это время готовилось к печати очередное собрание сочинений Маяковского. Составители разыскали один из ранних отзывов Маяковского о Мейерхольде и включили его в двенадцатый том. Согласитесь, что это был поступок! Ведь риск оказаться в соседней камере с Мейерхольдом был по-настоящему велик. Но – обошлось.

А вот что писал Маяковский о дорогом ему Всеволоде Эмильевиче:

«И когда мне говорят, что Мейерхольд сейчас дал не так, как нужно дать, мне хочется вернуться к биографии Мейерхольда и его положению в сегодняшнем театральном мире. Я не отдам вам Мейерхольда на растерзание! Надо трезво учитывать театральное наличие Советской республики. У нас мало талантливых людей и много гробокопателей. У нас любят ходить на чужие свадьбы при условии раздачи бесплатных бутербродов. Но с удовольствием будут и хоронить.

Товарищ Мейерхольд прошел длительный путь революционного лефовского театра. Если бы Мейерхольд не ставил “Зорь”, не ставил “Мистерии-буфф”, не ставил “Рычи, Китай”, не было бы режиссера на территории нашей, который взялся бы за современный, за революционный спектакль. И при первых колебаниях, при первой неудаче, проистекающей, может быть, из огромности задачи, собакам пошлости Мейерхольда мы не отдадим!»

Казалось бы, лучше не скажешь, и к мнению официально признанного трибуна неплохо бы прислушаться! Ан нет, не прислушались и уpekли в кутузку.

Пока из Мейерхольда тянули жилы на допросах, кто-то решил заняться его женой: 15 июля 1939 года Зинаида Райх была зверски убита, причем прямо в своей квартире. Версий этого преступления много – от любовника до сотрудников НКВД, от театральных знакомых до простых грабителей, но ни одна из них не считается доказанной. По большому счету дело об убийстве Зинаиды Райх до сих пор нельзя считать закрытым.

Всеволод Эмильевич об этом, конечно же, не знал, а так как его перестали вызывать на допросы, он решил написать собственноручные показания. Тридцать одна страница написана рукой Мейерхольда, но как написана... Ломаные, раздерганные строчки, кое-как слепленные буквы. Собственно говоря, это даже не показания, а своеобразный творческий отчет Мастера.

С какими замечательными людьми сводила его судьба, какие titаны мысли оказали на него влияние! Вы только вслушайтесь в этот перечень имен: Метерлинк, Пшебышевский, Белый, Брюсов, Аннунцио, Бальмонт. Всеволод Эмильевич рассказывает о парнасцах, символистах и акмеистах, о знаменитых «средах» у Вячеслава Иванова, об общении с Мережковским, Струве, Гиппиус, Ремизовым, Чулковым, Гумилевым, Волошиным, Сологубом, Разумником и Чеботаревской. А встречи с Горьким, Чеховым, Бенуа, Добужинским, Философовым, Комиссаржевской, Савиной! И не только встречи, но и совместная работа с этими великими людьми, составлявшими цвет и гордость русской культуры.

То ли под влиянием этих воспоминаний, то ли он просто встряхнулся, но в начале октября к Всеволоду Эмильевичу пришло самое настоящее прозрение: он понял, что творит нечто непотребное, что, идя на поводу у следователей, говорит не то, что было, а то, что нужно следователям. И на очередном допросе он решительно заявляет:

– На допросе 14 июля я показал, что Дикий был привлечен Олешей к террористической деятельности. Эти мои показания не соответствуют действительности, потому что Олеша никогда об этом не говорил. И вообще, с Олешей никаких разговоров о террористической

деятельности не было. Дикого я оговорил. А оговорил потому, что в момент допроса находился в тяжелом психическом и моральном состоянии. Других причин нет.

Дальше – больше! Потребовав бумаги, Всеволод Эмильевич пишет, что Эренбург в троцкистскую организацию его не вовлекал, с Пастернаком, Шостаковичем и другими своими знакомыми антисоветских разговоров не вел, и уж, конечно же, ни о каком терроре не могло быть и речи.

Следователи запаниковали: обвинение разваливалось как карточный домик. А Всеволод Эмильевич продолжал писать собственноручные показания. Но теперь это были показания не сломленного, больного арестанта, а мужественного, все понявшего и принявшего решение человека. Он пишет, что показания, касающиеся Милютиной, не соответствуют действительности.

«Я путал имена и даты, – пишет он, – переадресовывал события от одних лиц другим. Например, Рыков и Милютина были у меня на квартире – этого было достаточно, чтобы я заявил, что встречался с Рыковым у Милютиных. А этого не было. То же и с Бухариным... Не могу ничего точно сказать и о Радеке».

Несколько позже у него поинтересовались, ознакомился ли он с материалами дела и имеет ли какие-нибудь жалобы и заявления.

– С материалами следствия я ознакомился, хотя хотел еще почитать. Никаких жалоб по отношению к следствию не имею. Следователь Шибков никакого давления на меня не оказывал, а следователи Воронин, Родос и Сериков давление оказывали.

Вот так, ни больше ни меньше... А знаете, что означает невинная на первый взгляд формулировка «оказывать давление»? Думаете, речь идет об окриках и оскорблениях? Как бы не так! Все гораздо проще и страшнее. Несколько позже я об этом расскажу, причем устами самого Всеволода Эмильевича. А пока что он спешил исправить содеянное и чуть ли не круглосуточно писал собственноручные показания:

«К своим ранее данным показаниям относительно следующих лиц: И. Эренбург, Б. Пастернак, Л. Сейфуллина, Вс. Иванов, К. Федин, С. Киршон, В. Шебалин, Д. Шостакович, С. Эйзенштейн, Э. Грин, В. Дмитриев считаю долгом внести ряд добавлений, а главное, весьма существенных исправлений.

1. Илья Эренбург не вовлекал меня в троцкистскую организацию. Категорически заявляю, что ни Эренбург, ни Мальро не говорили мне ни о недолговечности советской системы, ни о том, что троцкистам удастся захватить власть, ни о том, что следует настойчиво и последовательно продолжать борьбу против партии и добиваться свержения советской власти.

2. Я не вел с Б. Пастернаком разговоров, направленных против партии и правительства. Ни по указанию Эренбурга, ни по своей личной инициативе я не вербовал в троцкистскую организацию ни Б. Пастернака, ни Ю. Олешу, ни Л. Сейфушину, ни Вс. Иванова, ни К. Федина, ни С. Кирсанова, ни В. Шебалина, ни Д. Шостаковича.

3. В отношении Ю. Олеси считаю долгом сделать следующее существенное исправление: я Ю. Олешу в троцкистскую организацию не вербовал. Не соответствует действительности и то мое показание, что будто бы Олеша намечался как лицо, могущее быть использованным по линии физического устранения руководителей партии и правительства. О терроре никогда речи не было».

Казалось бы, все показания, данные ранее, полностью дезавуированы и дело надо закрывать. Не тут-то было! 27 октября 1939 года Мейерхольду предъявили обвинительное заключение, в котором его по-прежнему называют кадровым троцкистом, а также агентом английской и японской разведок.

Но Всеволод Эмильевич не сдается. Прямо из Бутырки он пишет пространную жалобу Прокурору Союза ССР:

«16 ноября 1939 года мое дело закончено. Я безоговорочно подписал последний лист, как безоговорочно подписывал ряд других протоколов, делая это против своей совести. Теперь я от этих вынужденно ложных показаний отказываюсь, так как они явились следствием того, что ко мне, 65-летнему старику (и нервному, и больному), применялись такие меры физического и морального воздействия, каких я не мог выдержать, и стал наводить свои от веты чудовищными вымыслами. Я лгал, следовательно записывал, причем некоторые ответы за меня диктовал стенографистке. А потом я под этой ложью подписывался, потому что мне говорили, что если не подпишу, то бить будут в три раза сильнее.

Я никогда не был изменником Родины, никогда не участвовал ни в каких заговорщических организациях против советской власти. И кто посмеет клеветать на меня, что я был шпионом хоть одного из иностранных государств? Но следователи вынуждали меня репрессивными методами в этих преступлениях “сознаваться” – и я лгал на себя.

Прошу вызвать меня к себе. Я дам развернутые объяснения и назову имена следователей, вынуждавших меня к вымыслам».

Прокурор, как и следовало ожидать, выслушивать «развернутые объяснения» умело маскировавшегося врага народа не пожелал. Тогда Мейерхольд обратился к Берии. Реакция та же...

И тогда Всеволод Эмильевич пишет главе правительства Молотову. О реакции Молотова, слывшего гуманистом и правдолюбом, я расскажу несколько позже, но сначала познакомлю с письмом – последним письмом в жизни Мейерхольда.

Письмо довольно длинное, из-за тюремных ограничений в бумаге оно написано в два приема, поэтому приведу лишь некоторые, в самом прямом смысле слова, кричащие строки:

«Чем люди оказываются во время испуга, то они, действительно, и есть. Испуг – это промежуток между навыками человека, и в этом промежутке можно видеть натуру такую, какая она есть... Так писал когда-то Лесков.

Когда следователи в отношении меня пустили в ход физические методы воздействия, а к ним присоединили еще и так называемую психическую атаку – и то, и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что моя натура обнажилась до самых корней. Кожа оказалась чувствительной, как у ребенка, а глаза от нестерпимой боли слезы лили потоками.

Лежа на полу, лицом вниз, я извивался, корчился и визжал, как собака, которую плетью бьет хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с допроса, спросил: “У тебя малярия?” Такую мое тело обнаружило способность к нервной дрожи. И так – каждый день.

Когда я пытался заснуть, меня подбрасывало на койке, и я просыпался, разбуженный своим собственным стоном. Испуг вызывает страх, а страх вынуждает к самозащите. “Смерть, конечно, смерть легче этих мучений! – не раз я говорил себе. И я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то приведут меня на эшафот. Так и случилось, на последнем листе законченного следствием деле № 537 проступили страшные цифры параграфов уголовного кодекса: 58, пункт 1-а и И.

Вячеслав Михайлович! Вы знаете мои недостатки (помните однажды сказанное Вами в мой адрес: “Все оригинальничаете?”). Человек, который знает недостатки другого, знает его лучше того, кто любит его достоинствами. Скажите: можете Вы поверить тому, что я – шпион, что я изменник Родины (враг народа), что я – член право-троцкистской организации, что я – контрреволюционер, что я в своем искусстве проводил (сознательно!) вражескую работу, что подрывал основы советского искусства?

Все это налицо в деле № 537. Там же слово “формалист” стало синонимом слова “троцкист”. В деле № 537 “троцкистами” объявлены: я, И. Эренбург, Б. Пастернак, Ю. Олеша (он еще и террорист), Д. Шостакович, В. Шебалин, Н. Охлопков и др.

Будучи арестованным в июне, я только в декабре 1939-го пришел в некоторое относительное равновесие. Я написал о происходящем на допросах Л.П. Берии и Прокурору Союза

ССР, сообщив в своей жалобе, что я отказываюсь от своих ранее данных показаний. Недостаток мест не позволяет мне изложить все бредни моих показаний, но их множество.

Вот моя исповедь краткая. Как и положено, я произношу ее, быть может, за секунду до смерти. Я никогда не был шпионом, я никогда не входил ни в одну из троцкистских организаций (я вместе с партией проклинал Иуду Троцкого), я никогда не занимался контрреволюционной деятельностью.

Говорить о троцкизме в искусстве просто смешно. Отъявленный пройдоха из породы политических авантюристов, такой человек, как Троцкий, способен лишь на подлые диверсии и убийства из-за угла. Не имеющий никакой программы кретин не может дать программы художникам.

2.1. 1940 г.».

Казалось бы, самое главное сказано и письмо можно отправлять. Но Всеволод Эмильевич, будто предчувствуя, что времени у него осталось мало, а он еще не выговорился, делает весьма примечательную приписку: «Окончу заявление через декаду, когда снова дадут такой листок».

Прошло десять дней, и Мейерхольд садится за продолжение письма Молотову.

«Тому, что я не выдержал, потеряв над собой всякую власть, находясь в состоянии затуманенного, притупленного сознания, способствовало еще одно страшное обстоятельство. Сразу же после ареста меня ввергла в величайшую депрессию власть надо мной навязчивой идеи: “Значит, так надо! Правительству показалось, что за мои грехи, о которых было сказано с трибуны 1-й сессии Верховного Совета, кара для меня недостаточна”. А ведь был закрыт театр, разогнан коллектив, отнято строящееся здание.

Я должен потерпеть еще одну кару, решил я. Ту, которая наложена органами НКВД.

Как же меня здесь били – меня, больного, 65-летнего старика! Меня клали на пол лицом вниз, и резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда я сидел на стуле, той же резиной били по ногам – от колен до верхних частей ног. В последующие дни, когда эти места были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, били по этим красно-синим кровоподтекам – и боль была такая жуткая, что, казалось, на меня лили кипяток. Я плакал и кричал от боли. А меня все били этим страшным резиновым жгутом – по рукам, по ногам, по лицу и по спине.

Истязатели специально били по старым синякам и кровоподтекам: так гораздо больнее, а ноги превращаются в кровавое месиво. В промежутках между экзекуциями следователь еще и угрожал: не станешь подписывать протоколы, будем опять бить, оставив нетронутыми голову – чтобы соображал, и правую руку – чтобы было чем подписывать, остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного мяса. И я все подписывал.

Я умоляю Вас, главу правительства, спасите меня, верните мне свободу. Я люблю свою Родину и отдам ей все свои силы последних годов моей жизни».

Как вы думаете, был или не был услышан этот крик о помощи? Ведь проще всего сказать, что письма из тюрем до членов правительства не доходили и о творящихся в тюрьмах безобразиях они ничего не знали. Оказывается, доходили, еще как доходили. Это подтвердил один из секретарей Молотова, который регистрировал эти письма и клал на стол своего начальника.

Так как же отреагировал глава советского правительства на письмо Мейерхольда? А никак. Он промолчал. Он сделал вид, что это его не касается. Для бериевцев это было сигналом, означающим, что можно продолжать в том же духе и возню с Мейерхольдом заканчивать.

1 февраля 1940 года состоялось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда Союза ССР. И хотя Всеволод Эмильевич виновным себя не признал, свои показания не подтвердил и заявил, что во время следствия его избивали, суд приговорил

Мейерхольда к высшей мере наказания – расстрелу. 2 февраля приговор был приведен в исполнение.

Это, конечно, совпадение, но неподалеку от справки о расстреле Всеволода Эмильевича, подписанной старшим лейтенантом Калининым, в дело подшито письмо Алексея Максимовича Горького, которое он отправил Мейерхольду еще в 1900 году.

«Вы, с вашим тонким и чутким умом, с вашей вдумчивостью – дадите гораздо, неизмеримо больше, чем даете. И будучи уверен в этом, я воздержусь от выражения моего желания хвалить и благодарить вас.

Почему-то хочется напомнить вам хорошие, сердечные слова Иова: “Человек рождается на страдание, как искры, что устремляются вверх. Вверх!”»

Как в воду глядел Алексей Максимович, Мейерхольд был рожден на страдание. Чего-чего, а этого в его жизни было предостаточно. Но вверх он ушел не бесследно. Имя Мейерхольда, как ни старались изгладить его из памяти и предать забвению, из истории театра вычеркнуть не удалось. Да это и невозможно, ибо театр – это и есть Мейерхольд. Расстреляв Мейерхольда, сталинские палачи расстреляли театр, на многие годы отбросив назад театральное искусство и превратив его в живой плакат.

Но у этой печальной истории есть продолжение, причем, не боюсь этого слова, доблестное. Ведь людям, которые бросились на защиту честного имени Мейерхольда, пришлось иметь дело с Главной военной прокуратурой. И хотя на дворе был 1955-й и началась так называемая «оттепель», никто не знал, как долго продержится тепло и не вернется ли все снова на круги своя.

«Мейерхольд самобытен... я даже думаю, что он гениален»

Эти слова много лет назад сказал о Мейерхольде другой великий режиссер – Евгений Багратионович Вахтангов. Несколько позже он выразил эту мысль более развернуто: «Все театры ближайшего будущего будут построены и основаны так, как давно предчувствовал Мейерхольд. Мейерхольд гениален. И мне больно, что этого никто не знает. Даже его ученики».

Что касается учеников, то с выводом Вахтангов явно поторопился: придет время, и они докажут, что Мастер воспитал из них не только прекрасных актеров и режиссеров, но и, что не менее важно, людей не робкого десятка, умеющих постоять за доброе имя своего учителя.

Итак, год 1955-й... Приемная дочь Мейерхольда Татьяна Есенина обращается к тогдашнему главе правительства Георгию Маленкову с просьбой о пересмотре дела отца, «который, как мне сообщили, был приговорен к 10 годам ИТЛ и 17 марта 1942 года умер в лагере». (Именно такие справки выдавали родственникам расстрелянных людей.) Маленков переадресовывает письмо Генеральному прокурору СССР Роману Руденко и поручает ему заняться делом Мейерхольда. В тот же день Руденко вызывает военного прокурора Ряженого и приказывает подготовить все необходимые бумаги.

Машина завертелась прямо-таки на бешеных оборотах! Подняли протоколы допросов, собрали справки обо всех упоминавшихся в деле лицах и, что особенно важно, обратились ко всем, кто знал Мейерхольда, чтобы они прислали свои отзывы о Всеволоде Эмильевиче. Не поленились заглянуть в архивы и проштудировать многочисленные статьи о творчестве Мейерхольда. Одна из них носит курьезный характер и посвящена не творчеству, а... аресту Мейерхольда контрразведкой Добровольческой армии. Произошло это в Новороссийске. Вот что писал об этом аресте корреспондент газеты «Черноморский маяк» Бобищев-Пушкин в сентябре 1919 года:

«С глубоким нравственным удовлетворением принимаю перед обществом ответственность за арест Мейерхольда, происшедший благодаря моим статьям.

Мейерхольд не был жрецом аполитичного искусства, а большевистским сановником, отдавшим искусство на службу советской агитации. За это он получал от советской власти большие суммы, за это пользовался дружбой и протекцией Луначарского. Мейерхольд записался в партию, он – зарегистрированный большевик.

Моим читателям известно, что еще 7 июля, немедленно после приезда Мейерхольда в Новороссийск, я опубликовал, что это – большевистский комиссар, заведовавший в Петрограде театральной агитацией. Как главное преступление Мейерхольда, лишаящее всякой возможности терпеть его на Добровольческой территории, я указал на то, что он ставил празднества в честь годовщины Октябрьской революции, в том числе кощунственную, оскорбляющую все русские святыни, земные и небесные, “Мистерию-буфф” Маяковского. С моей точки зрения, тому, кто праздновал с большевиками годовщину их революции, не место у нас.

Деятельность Мейерхольда цинично и открыто развертывалась на виду у всех петроградцев – мое право русского человека не дышать одним воздухом с большевиком, оскорбляющим своим присутствием Добровольческую территорию».

Жуткая, если вчитаться, статья... Один петербургский интеллигент своими публикациями, больше похожими на доносы, добивается ареста другого петербургского интеллигента и несказанно рад, когда это происходит. В разгаре Гражданская война, дискуссии идут на языке пулеметов, а тут вдруг человек с клеймом большевистского комиссара в стане врага.

Только чудом можно объяснить, что тогда Мейерхольда не поставили к стенке! Но то, что не сделали белые, хоть и несколько позже, исправили красные.

В 1955-м эта публикация говорила в пользу Мейерхольда, ибо доказывала его верность большевистским принципам: он не остался у белых, вырвался из застенка и еще много лет работал на благо победившего пролетариата.

Как вы, наверное, помните, на допросах Мейерхольд назвал много известных всей стране имен, причем назвал их в контрреволюционном и антисоветском контексте. К счастью, следователи то ли не приняли эти рассказы всерьез, то ли учли, что в последующем Мейерхольд отказался от своих показаний, но массовых арестов не последовало.

Как же повели себя эти люди потом, когда их стали приглашать к военному прокурору? Доблестно. И хотя уже не было ни Сталина, ни Бери, идти к прокурору все же боязно. Но они шли! Около сорока человек, забыв о страхе, явились тогда к прокурору, а потом прислали свои письменные отзывы. Читайте, и вы поймете, как советская интеллигенция любила и уважала Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович, видимо, для убедительности, прислал свой отзыв на бланке депутата Верховного Совета РСФСР.

«Я познакомился со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом в конце 1927-го или в начале 1928 года. Вскоре после знакомства он пригласил меня на работу в свой театр в качестве заведующего музыкальной частью. Проработал я там месяца два, а потом вернулся в Ленинград. А потом Мейерхольд предложил мне написать музыку к комедии Маяковского “Клоп”, что я и сделал.

Когда я работал в театре (1928 год), то пользовался гостеприимством семьи Мейерхольда и жил у него в квартире на Новинском бульваре. Таким образом, я имел возможность наблюдать этого выдающегося режиссера не только на работе, но и в быту. В дальнейшем я вел знакомство с Мейерхольдом до самого дня его ареста.

Исходя из этого, я считаю, вправе утверждать, что я был достаточно близко знаком с Мейерхольдом. Всеволод Эмильевич очень благожелательно относился к моим занятиям музыкой, к моим сочинениям. Я же буквально благоговел перед его гениальным талантом. Сближало нас и то, что он очень любил музыку, очень тонко в ней разбирался, не будучи специалистом-музыкантом. Наконец, это был передовой человек нашей эпохи.

Никогда ни сам Мейерхольд, ни его семья, ни люди, которых я у него встречал, не вели антисоветских разговоров. Как я уже говорил, он очень любил и понимал музыку. С особой убедительностью это можно говорить тем, кто видел его постановку “Пиковой дамы” Чайковского в Ленинградском Малом оперном театре. Этот спектакль необходимо возобновить и показывать советским слушателям. Из его старых, дореволюционных постановок следует особо отметить “Маскарад” Лермонтова.

Гений Всеволода Мейерхольда расцвел после Октябрьской революции. Огромное впечатление произвели его спектакли “Лес” Островского, “Ревизор” Гоголя, “Клоп” и “Баня” Маяковского, “Последний решительный” Вишневского, “Мандат” Эрдмана и другие, являющиеся шедевром режиссерского искусства.

О Мейерхольде нельзя говорить, не вспомнив о его выдающейся роли в деле воспитания таких замечательных артистов, как И. Ильинский, М. Бабанова, М. Царев, Э. Гарин, Н. Охлопков, М. Штраух, В. Зайчиков, Н. Богомолов, являющихся гордостью советского сценического искусства.

Невозможно зачеркнуть ту выдающуюся роль, которую сыграл Мейерхольд в развитии русского и советского театрального искусства. Имя гениального Всеволода Мейерхольда, его выдающееся творческое наследие должны быть возвращены советскому народу».

Письмо Ильи Эренбурга более кратко, но, в силу его пристрастий, носит международный характер:

«Я знал Мейерхольда с 1920 по 1938 год. В 1920-м он был заведующим ТЕО Наркомпроса, в котором я работал. В те годы он группировал вокруг себя все круги художественной интеллигенции, активно вставшей на сторону Октябрьской революции. Его постановки “Зорь” Верхарна и “Мистерии-буфф” Маяковского были первыми крупными явлениями революционного советского театра.

Во время заграничных гастролей тетра Мейерхольда в Париже спектакли этого театра сыграли огромную роль в повороте больших кругов французской интеллигенции к Советскому Союзу. Во всех своих выступлениях и частных беседах, как в Советском Союзе, так и за рубежом, Мейерхольд всегда был принципиальным и страстным сторонником нашего строя и нашей идеологии».

Известный кинорежиссер Григорий Александров рассказал о влиянии Мейерхольда не только на театральное, но и кинематографическое искусство тех лет:

«Всеволод Эмильевич Мейерхольд был новатором того типа художников, которые все силы направляют на ломку старых, обветшавших традиций и стремятся разрушить косность, рутину, консерватизм. Такие художники расчищают путь к новому, хотя сами, зачастую, воздвигают на расчищенном месте произведения весьма спорные.

Самым положительным в творчестве Мейерхольда было то, что он всегда стремился утвердить на сцене советского театра актуальную, боевую, современную тематику. Не случайно первые постановки пьес Маяковского были сделаны Мейерхольдом.

В области кино влияние Мейерхольда сказалось на творчестве его ученика режиссера С.М. Эйзенштейна, создавшего фильма “Броненосец Потемкин”, который признан сейчас мировой общественностью как лучший фильм мира.

В документальном кино влияние Мейерхольда определило успехи Дзиги Вертова и Эсфирь Шуб, добившихся больших международных успехов. Деятельность Мейерхольда и его имя нельзя вычеркнуть из истории советской культуры».

Несколько месяцев прокурор Рязский с утра до вечера принимал в своем кабинете актеров и режиссеров, писателей и композиторов, художников и общественных деятелей. О Мейерхольде они могли говорить часами, но прокурор произносил расхожую фразу, что слова, мол, к делу не подошьешь, и просил изложить свое мнение письменно. Одни создавали на эту тему целые эссе, другие были более лапидарны. Борис Пастернак, несомненно, принадлежал к первым. Вот какое письмо он отправил Борису Рязскому:

«Я до сих пор не сдержал слова и не закрепил для Вас письменно разговор о Мейерхольде, потому что все это время был очень занят.

Вы помните наш разговор? Главное его существо заключалось вот в чем. Так же, как с Маяковским, я был связан с Мейерхольдом поклонением его таланту, дружбой, удовольствием и честью, которые доставляло мне посещение его дома или присутствие на его спектаклях. Но общей работы между нами не было: для меня и он, и Маяковский были людьми слишком левыми и революционными, а для них был недостаточно лев и радикален.

Я любил особенно последние по времени постановки Мейерхольда: “Ревизора”, “Горе от ума”, “Даму с камелиями”. Дом Всеволода Эмильевича был собирательной точкой для всего самого передового и выдающегося в художественном отношении.

Среди писателей, музыкантов, артистов и художников, бывавших у него, наиболее сходной с ним по душевному огню и убеждениям, наиболее близкой ему, братской душой был, на мой взгляд, Маяковский. Я не знаю, насколько решающим может быть мое мнение о Мейерхольде, но я этого великого человека искренне любил».

Откликнулась на просьбу прокурора и одна из старейших актрис страны Александра Яблочкина:

«Тяжкие обвинения, выдвинутые против выдающегося деятеля советского театра Всеволода Эмильевича Мейерхольда, долгие годы тяжким бременем лежали на сердце. Я буду

безмерно рада узнать, что Мейерхольд снова занял подобающее ему место в истории русского и советского театра.

В творчестве Мейерхольда было много спорного. Для меня, воспитанной на традициях старейшего русского театра, в его постановках было много такого, чего я не могу понять. Но это разногласия творческого, а не идейного порядка. Мейерхольд одним из первых, без колебаний, стал на сторону революции и всю свою кипучую энергию отдал искусству и народу.

Беззаветная любовь к театру, горячая вера в то, что театр является могучим проводником передовых идей в народ, сильнейшим оружием в борьбе за светлое будущее, – вот что роднит Мейерхольда со всеми лучшими деятелями русского искусства».

Как я уже говорил, в кабинете прокурора побывало около сорока человек – и все они оставили поражающие своей искренностью и теплотой отзывы о Мейерхольде. Напечатать их в рамках этого очерка просто невозможно, но имена авторов, хоть и не всех, я назову: Эраст Гарин, Семен Кирсанов, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Николай Эрдман, Николай Акимов, Николай Охлопков, Вениамин Каверин, Николай Черкасов, Николай Боголюбов, Николай Петров, Валентин Плучек, Илья Эренбург, Григорий Александров, Сергей Образцов, Мария Бабанова, Дмитрий Шостакович, Виссарион Шебалин, Борис Захава, Александра Яблочкина, Юрий Олеша, Рубен Симонов, Максим Штраух, Сергей Юткевич, Михаил Царев, Лев Безыменский, Михаил Жаров, Василий Меркурьев и многие, многие другие.

Вскоре приговор Военной коллегии был отменен, и дело, за отсутствием состава преступления, прекращено. Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда было возвращено народу. Но самое главное, был возрожден расстрелянный Театр – ведь в лице Мейерхольда был расстрелян Театр, причем именно с большой буквы.

Пока живут идеи одного из величайших мастеров сцены, пока есть люди, готовые идти на любые лишения ради реализации этих идей, Театру жить! А значит, жить человеку, который был одним из любимейших сынов Мельпомены.

Две пули для двух сердец

Популярность этого человека был сравнима с популярностью челюскинцев или папанинцев, его репортажами зачитывалась вся страна, к его книгам писали предисловия Бухарин и Луначарский, он состоял в переписке с Горьким, встречался со Сталиным – и вдруг арест. За что? Почему? Что натворил этот любимец партии и правительства? Ответов на эти вопросы не было более полувека – всякого рода версии и домыслы не в счет.

Но мне эти ответы найти удалось: они в следственном деле № 21 620 по обвинению Михаила Ефимовича Кольцова. Три тома лжи, клеветы, наветов и оговоров. Три тома нелепейших признаний, убийственных характеристик и, от этого тоже никуда не деться, три тома кошмарных показаний, которые сыграли роковую роль в судьбах многих и многих людей.

Открывается дело постановлением об аресте и привлечении к ответственности по статье 58–11 УК РСФСР. Примечательно, что утвердил его лично Берия. Думаю, что его подпись родилась не случайно: чтобы арестовать такого человека, как Кольцов, нужна была виза не менее чем наркома внутренних дел. Ни секунды не сомневаюсь, что была и другая виза, только устная: не согласовав вопроса со Сталиным, даже Берия не мог поднять руку на человека, которого в Кремле «ценят, любят и доверяют», – именно так говорил о Кольцове человек из ближайшего окружения Сталина.

Самое странное, что именно в те дни, когда Михаила Ефимовича стали приглашать в Кремль и говорить, как его ценят, Кольцова начали обуревать дурные предчувствия. Весной 1937 года Михаил Ефимович ненадолго приехал в Москву из Испании, где шла гражданская война. О перипетиях этой войны в Советском Союзе узнавали в основном из очерков Кольцова, поэтому отблеск этой бескомпромиссной борьбы ложился на боевого спецкора «Правды» и создавал вокруг него ореол популярности и славы. Кольцова наперебой приглашали на фабрики и заводы, в наркоматы и школы, где с восторгом слушали его рассказы о героической борьбе испанских республиканцев, а также пришедших им на помощь членов интернациональных бригад.

Одной из самых серьезных аудиторий была самая немногочисленная, состоящая всего из пяти человек. Это были Сталин, Ворошилов, Молотов, Каганович и, конечно же, самая мрачная фигура тех лет, нарком внутренних дел Ежов. Вопросы к Кольцову и его пространственные ответы заняли более трех часов. Что было дальше, со слов Кольцова рассказывает его родной брат, известный художник-карикатурист Борис Ефимов:

«Наконец беседа подошла к концу. И тут, рассказывал мне Миша, Сталин начал чудить. Он встал из-за стола, прижал руку к сердцу и поклонился. “Как вас надо величать по-испански? Мигу-эль, что ли?” – “Мигель, товарищ Сталин”, – ответил я. “Ну так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. Всего хорошего, дон Мигель! До свидания”. – “Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!”

Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул и как-то странно спросил: “У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?” – “Есть, товарищ Сталин”, – удивленно ответил я. – “Но вы не собираетесь из него застрелиться?” – “Конечно, нет, – еще более удивляясь, ответил я. – Ив мыслях не имею”. – “Ну вот и отлично, – сказал он. – Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель”.

На следующий день, – вспоминает Борис Ефимов, – Миша поделился со мной неожиданным наблюдением:

– Знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах “хозяина”, когда он провожал меня взглядом? Я прочел в них: “Слишком прыток”».

Вскоре Кольцов снова уехал в Испанию, а когда вернулся, на него как из рога изобилия посыпались должности, ордена, депутатство в Верховном Совете РСФСР и даже звание

члена-корреспондента Академии наук СССР. Казалось бы, чего лучше, чего большего ждать от жизни?! И все же дурные предчувствия не покидали Кольцова.

– Не могу понять, что произошло, – не раз говорил он брату. – Но чувствую, что что-то переменялось. Откуда-то дует этакий зловещий ветерок.

Надо сказать, что Кольцов искренне, глубоко и фанатично верил в мудрость Сталина. В Сталине ему нравилось абсолютно все! И он этого не скрывал. Больше того, он этими чувствами делился на страницах «Правды», «Огонька», «Крокодила», еженедельника «За рубежом» и других изданий, которыми, по воле партии, то есть Сталина, руководил в те годы.

Но в частных беседах с братом Михаил Ефимович делился тем, чем не мог поделиться с многомиллионной читательской аудиторией.

– Думаю, думаю, – озабоченно говорил он, – и ничего не могу понять. Что происходит? Каким образом у нас вдруг оказалось столько врагов? Ведь это же люди, которых мы знали годами, с которыми жили рядом. Командармы, герои Гражданской войны, старые партийцы! И почему-то, едва попав за решетку, они мгновенно признаются в том, что они враги народа, шпионы, агенты иностранных разведок. В чем дело? Я чувствую, что сойду с ума! А недавно Мехлис (в те годы начальник Главного политического управления РККА. – Б.С.) показал мне резолюцию Сталина на деле недавно арестованного редактора «Известий» Талья: несколько слов, адресованных Ежову и Мехлису, предписывали арестовать всех упомянутых в показаниях лиц. Понимаешь? Люди еще на свободе, строят какие-то планы на будущее и не подозревают, что уже осуждены, что, по сути дела, уничтожены одним росчерком красного карандаша.

А потом был звонок, зловещий звонок! В Москву приехали командующий ВВС Испании генерал Сиснерос и его жена Констанция. Кольцов дружил с ними в Испании, и организатором их встреч Москве был он. Всевозможных встреч и приемов было множество. Но на прием к Сталину чету Сиснеросов пригласили без Кольцова.

Деталь, казалось бы, пустяковая, но в те времена именно по таким деталям судили не только о благосклонности «хозяина», но и о шансах на жизнь. Да и дурные предчувствия самого Михаила Ефимовича были далеко не беспричинны: дело в том, что агентурная разработка Кольцова началась еще в 1937 году. Кольцов мотается по фронтам, пишет свой знаменитый «Испанский дневник», а на него уже собирают компромат. Кольцов возвращается из Испании, выступает на фабриках и заводах, встречается в Кремле со Сталиным, снова уезжает в Испанию, а разработка продолжается. Иначе говоря, он уже был одним из тех, кто еще на свободе, но уже осужден к уничтожению одним росчерком красного карандаша.

И лишь теперь, семьдесят с лишним лет спустя, удалось установить, кто, если так можно выразиться, дал старт анти-кольцовой кампании. Этим человеком был генеральный секретарь интернациональных бригад Андре Марти. В его подчинении было около 35 тысяч коммунистов, социалистов и анархистов, приехавших из 54 стран. И лишь один ему не только не подчинялся, но даже имел смелость указывать на ошибки. Этим человеком был Михаил Кольцов. Смириться с таким, с позволения сказать, двоевластием Марти не мог. Так, сам того не ведая, Михаил Ефимович нажил себе в этом человеке смертельного врага.

Удивительно, но об этом знал даже Эрнест Хемингуэй, который в своем романе «По ком звонит колокол» вывел Кольцова под фамилией Карков.

«Андре Марти смотрел на Каркова, и его лицо выражало только злобу и неприязнь, – писал Хемингуэй. – Он думал об одном: Карков сделал что-то нехорошее по отношению к нему. Прекрасно, Карков, хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь!»

Марти не мог уничтожить Кольцова своими руками, поэтому решил это сделать с помощью всем известного покровителя московского журналиста – Иосифа Сталина. Донос, который Марти отправил по своим каналам, совсем недавно был обнаружен в личном архиве Сталина. Вот его подлинный текст:

«Мне приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать Ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самоchinно узурпированы им. Его вмешательство в военные дела, использование своего положения как представителя Москвы сами по себе достойны осуждения. Но в данный момент я хотел бы обратить Ваше внимание на более серьезные обстоятельства, которые, надеюсь, и Вы, товарищ Сталин, расцените как граничащие с преступлением:

1. Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер.

2. Так называемая “гражданская жена” Кольцова Мария Остен (Грессгенер) является, у меня лично в этом нет никаких сомнений, засекреченным агентом германской разведки. Убежден, что многие провалы в военном противоборстве – следствие ее шпионской деятельности».

А теперь вспомните знаменитую встречу в Кремле после возвращения Кольцова из Испании, когда вождь называл его доном Мигелем и интересовался, не собирается ли он застрелиться. Сталин шутил, чудил, а донос уже лежал в его сейфе, и НКВД начал собирать компромат на Кольцова: подбирались его старые репортажи 1918–1919 годов, в которых он высказывался отнюдь не просоветски, выбивались показания из ранее арестованных людей, которые характеризовали Кольцова как ярого антисоветчика.

Скажем, некто Ангаров на одном из допросов показал: «Во время приезда Андре Жида в СССР я виделся с Кольцовым, который рассказал мне, как он думает организовать ознакомление этого знатного французского путешественника со страной. Этот план по существу изолировал Андре Жида от советского народа и ставил его в окружение таких людей, которые могли дать неправильное представление о стране».

Еще более зловеще-откровенной была писательница Тамара Леонтьева:

«В Москве существовала троцкистская группа литераторов, которая объединялась вокруг так называемого салона Галины Серебряковой. В нее входили Герасимов, Левин, Либединский, Колосов, Светлов, Кожевников, Кирсанов, Луговской и его жена. Все они были связаны с Киршоном и Авербахом. Позднее, когда Киршон и Авербах были арестованы, эта группа объединилась вокруг Михаила Кольцова и его жены Елизаветы Полюновой.

Михаил Кольцов является тем скрытым центром, вокруг которого объединились люди, недовольные политикой ВКП (б) и советской властью – в области литературы, в частности. Всем хорошо известно, что Кольцов является очень тонким мастером двурушничества, которому при всех политических поворотах удавалось не выпасть из тележки. Именно эта уверенность членов троцкистской группы литераторов послужила основанием к тому, что Кольцов занимал центральное положение.

Антисоветская работа троцкистской группы выражалась в том, что на собраниях, происходивших у Кольцова, велись антисоветские разговоры, имевшие определенную политическую направленность».

На основании этих, а также некоторых других данных родилось то само постановление об аресте, которое завизировал лично Берия. Вот он, этот уникальный документ: до сих пор о нем никто не знал и, как говорится, в глаза не видел.

«Я, начальник 5 отделения 2 отдела ГУГБ старший лейтенант Райхман, рассмотрев материалы по делу Кольцова (Фридлянде-ра) Михаила Ефимовича, журналиста, члена ВКП (б) с сентября 1918 года, депутата Верховного Совета РСФСР, нашел: Кольцов родился в 1896 году в городе Белостоке в семье коммерсанта по экспорту кожи за границу. С начала 1917 года Кольцов сотрудничал в петроградских журналах. В летних номерах “Журнала для всех” помещен ряд его статей с нападка на большевиков и на Ленина.

В 1918–1919 гг. Кольцов сотрудничал в газете ярко выраженного контрреволюционного направления “Киевское эхо”. В 1921 году, будучи направленным НКВД в Ригу для работы в газете “Новый путь”, Кольцов получал письма от кадетского журналиста Полякова-Литовцева, встречался в Риге с белоэмигрантскими журналистами, в частности с Петром Пильским. Тогдашняя жена Кольцова актриса Вера Юренева поддерживала тесное общение с белоэмигрантами. Со своей нынешней женой Елизаветой Полюновой Кольцов познакомился в Лондоне – она жила там с семьей, которая уехала в Англию в начале революции. Позже она переехала в Москву.

Друга жена Кольцова – Мария фон Остен – дочь крупного немецкого помещика, троцкистка. Кольцов сошелся с ней в 1932 году в Берлине. По приезду в Москву Остен сожительствовала с ныне арестованными как шпионы кинорежиссерами, артистами и немецкими писателями. Уехав вместе с Кольцовым в Испанию,

Мария Остен бежала оттуда во Францию вместе с немцем по фамилии Буш.

По имеющимся данным, Кольцов усиленно покровительствовал враждебным соввласти элементам. Так, например, Кольцов поддерживал близкую связь с приехавшей в 1934 году из Берлина актрисой Кароллой Нейер, позже расстрелянной как шпионка.

Родной брат Кольцова – Фридляндер (историк) расстрелян органами НКВД как активный враг. Второй брат Кольцова – Борис Ефимов, троцкист, настроен резко антисоветски, обменивается своими враждебными взглядами с Кольцовым.

Материалами, поступившими в ГУГБ в последнее время, установлено, что Кольцов враждебно настроен к руководству ВКП (б) и соввласти и является двурушником в рядах ВКП (б). Зарегистрирован ряд резких антисоветских высказываний с его стороны в связи с разгромом право-троцкистского подполья в стране.

На основании изложенных данных считаю доказанной вину Кольцова Михаила Ефимовича в преступлениях, предусмотренных статьей 58—И УК РСФСР, а потому полагал бы Кольцова Михаила Ефимовича арестовать и привлечь к ответственности по ст. 58—11 УК РСФСР».

Такой вот документ – странный, нелепый, со множеством фактических ошибок. Скажем, настоящая фамилия Кольцова не Фридляндер, а Фридлянд. И никакого брата-историка у него не было. Правда, незадолго до этого действительно был расстрелян декан исторического факультета МГУ профессор Фридляндер, но никакого отношения к Михаилу Кольцову он не имел. Но ни Райхмана, ни Берию это не интересовало, – подумаешь, какой-то расстрелянный профессор, к тому же такой же еврей, как и Фридлянд-Кольцов.

Попутно возникает вопрос о командировке Кольцова в капиталистическую Ригу, куда Кольцов был направлен НКВД. Он что, был сотрудником НКВД? Ведь людей, не имеющих отношения к своему ведомству, НКВД в загранкомандировки не отправляло.

А поездки в Берлин и Лондон, откуда он вывез жен-троцкисток, они тоже организованы НКВД? Если это так, то какие функции выполнял Кольцов во время поездок в откровенно враждебные страны? А может быть, руководители НКВД Генрих Ягода и Николай Ежов помогали Кольцову из чисто приятельских побуждений? Теоретически это, конечно, возможно, но практически абсолютно исключено.

Непонятно и другое: почему резко антисоветски настроенный троцкист Борис Ефимов на воле? Уж кого-кого, а его-то должны были арестовать в первую очередь – ведь он, как никто, находился под прямым тлетворным влиянием старшего брата.

Как бы то ни было, но, хоть и коряво, указание вождя было выполнено: Михаил Кольцов оказался в печально известной Внутренней тюрьме Лубянки.

Тюремные очерки Кольцова

Первый допрос состоялся 6 января 1939 года. Вел его следователь следственной части НКВД сержант Кузьминов.

– Пятого января вам предъявлено обвинение, что вы являетесь одним из участников антисоветской правотроцкистской организации и что на протяжении ряда лет вели предательскую шпионскую работу, а теперь занимаетесь запирательством. Признаете себя в этом виноватым?

– Нет, виновным себя в этом не признаю. И запирательством я не занимаюсь.

– Следствие вам не верит. Вы скрываете свою антисоветскую деятельность. Об этом мы будем вас допрашивать. Приготовьтесь!

Пока что Кольцов держится твердо, обвинения решительно отвергает и на компромисс со следователем не идет. Судя по всему, он не придавал особого значения ни восклицательному знаку в конце фразы, ни зловеще-двусмысленному совету к чему-то там приготовиться. А зря! Допрос, состоявшийся 21 февраля, показал, что с Кольцовым основательно поработали, и он дрогнул.

– Повторяю, что вражеской деятельностью против советской власти я не занимался, – уверенно начал он, и вдруг, после паузы, добавил: – Не считая статей 1919 года.

– Какие статьи вы имеете в виду? – тут же вцепился следователь.

– Я имею в виду несколько статей в буржуазных газетах, таких как «Киевское эхо», «Вечер», «Наш путь» и «Русская воля», написанных в 1917–1919 годах.

– А когда вы вступили в партию? – как бы ненароком поинтересовался следователь.

– В сентябре 1918 года. Рекомендующими были Луначарский и Левченко, – гордо заявил Кольцов.

– Очень интересно! – торжествующе усмехнулся следователь. – Значит, уже будучи коммунистом, вы принимали участие в антисоветских газетах и печатали там свои статьи?

Это была первая победа сержанта Кузьминова. Михаил Ефимович понял, что попался, и ему ничего не оставалось, как подписать протокол с довольно неприятной для себя формулировкой.

– Да, я это подтверждаю и не отрицаю в этом своей вины, – вынужден был признать он.

Потом была более чем месячная пауза. На допросы Михаила Ефимовича не вызывали, ни читать, ни писать не давали, общаться было не с кем – и он затосковал. Деятельная натура журналиста искала выхода, и хитроумный следователь этот выход нашел: он дал Кольцову бумагу, чернила, ручку и предложил написать личные показания. Что еще нужно находящемуся в простое журналисту?! И хотя Михаил Ефимович предпочитал не писать, а диктовать, он увлеченно засел на работу.

Кольцов писал быстро, что-то вымарывал, зачеркивал, правил, делал вставки, короче говоря, он работал над очерком, а не над личными показаниями. Эта рукопись сохранилась, и даже по ней можно судить, каким прекрасным журналистом был Михаил Кольцов:

«Мелкобуржуазное происхождение и воспитание (я являюсь сыном зажиточного кустика-обувщика, использовавшего наемный труд) создали те элементы мелкобуржуазной психологии, с которыми я пришел на советскую работу и впоследствии в большевистскую печать. Характерным для моей личной психологии того времени было мнение, что можно одновременно работать в советских органах и нападать на эти же органы на столбцах буржуазных газет, еще существовавших в этот период».

Михаил Ефимович прекрасно понимал, что раскаявшихся грешников любят не только на небесах, но и на Лубянке, поэтому продолжал посыпать голову пеплом:

«В 1923 году я начал редактировать иллюстрированный журнал “Огонек”. Это время было первым периодом гопа и, практически извращая линию партии в области издательского дела, я ориентировал содержание журнала главным образом на рыночный спрос, заботясь не об идеологическом содержании журнала, а об угождении читателю-покупателю, об его обслуживании всякого рода “сенсациями”.

В журнале помещался низкого качества литературный материал, а также очерки рекламного характера. В 1923 и 1924 годах были помещены хвалебного характера очерки и снимки Троцкого, Радека, Рыкова и Раковского “за работой”. Хотя эти враги народа в тот период еще не были полностью разоблачены и занимали видные посты, помещение подобных рекламных материалов лило воду на их мельницу.

По мере того, как журнал “Огонек” разросся в издательство, вокруг него постепенно сформировалась группа редакционных и литературных работников, частью аполитичных, частью чуждых советской власти, являвшаяся в своей совокупности группой антисоветской».

Видимо, спохватившись, Михаил Ефимович понял, какие серьезные написал слова: антисоветская группа – это не шуточки. Он пытается что-то зачеркнуть, поправить, но было поздно – следователь непременно поинтересуется теми, кто входил в эту группу. Не думаю, что Кольцов не понимал, как может измениться судьба этих людей, если он назовет их имена, но обратного хода не было. И он пишет с резким, безнадежно отчаянным нажимом: «В эту группу входили: Абольников, Чернявский, Левин, Прокофьев, Зозуля, Биневиц, Рябинин, Гуревич, Кармен и Петров. Подавляющее большинство участников названной группы привлекались к работе лично мною, либо с моего согласия и ведома».

На допросы Михаила Ефимовича по-прежнему не вызывали, и вскоре он почувствовал, что буквально задыхается без общения со следователем. Удивительно, но на следующий допрос он, без всяких преувеличений, напросился.

– Я намерен сообщить об отдельных лицах, принадлежность которых к какой-либо антисоветской организации мне неизвестна, – энергично начал он, – но вместе с тем мне известны отдельные факты их антисоветского проявления. Начну с Лили Юрьевны Брик, которая с 1918 года являлась фактической женой Маяковского и руководительницей литературной группы «Леф». Состоявший при ней формальный муж Осип Брик – лицо политически сомнительное, в прошлом, кажется, буржуазный адвокат. Брики влияли на Маяковского и других литераторов в сторону обособления от остальной литературной среды и усиления элемента формализма в их творчестве. А вообще-то, Брики в течение двадцати лет были самыми настоящими паразитами, базируя на Маяковском свое материальное и социальное положение. Сестра Лили Брик писательница Эльза Триоле – человек аполитичный, занятый своей лично-семейной жизнью: как известно, последние десять лет она замужем за французским поэтом Луи Арагоном.

Далее – Илья Самойлович Зильберштейн, известный литератор, историк, пушкинист. Кроме того, он энергичный изыскатель старых литературных документов и неопубликованных рукописей – в той области он является полезным специалистом. Однако отличается делячеством и стремлением заработать одновременно во многих редакциях и издательствах.

Всеволод Вишневский – писатель. По своему внутреннему содержанию человек анархистско-мелкобуржуазной закваски. В своем поведении отличается хлестаковщиной и интриганством, стремясь через склоки занять первенствующее положение среди литераторов. А однажды в Испании он дошел до того, что явился на заседание конгресса писателей пьяным и начал приставать к иностранным писателям с совершенно диким предложением: «Мы сегодня ночью в одном месте постреляли десяток фашистов, приглашаю вас повторить это вместе».

Владимир Ставский – писатель. Человек в литературном отношении бездарный и беспомощный, отсутствие знаний и дарования возмещает безудержным интриганством и пролазничеством. Пробравшись к руководству Союзом писателей, проводил вредную работу по запугиванию и разгону писателей, что привело к появлению атмосферы взаимной подозрительности. В своей практике Ставский прибегал к распусканию ложных слухов о том, что тот или иной литератор якобы в немилости у руководства ЦК и редакциям надлежит его бойкотировать. Одним из недобросовестных приемом Ставского было афиширование его якобы большой близости к Кагановичу.

Наталья Сац – театральная работница, директор детского театра. Человек очень пронырливый и карьеристический. Умело обдeldывала свои дела, используя протекции среди ответственных работников. Была замужем за председателем Промбанка Поповым и нарком-торгом Вейцером – через них добывала деньги для руководимого ею театра.

Роман Кармен – журналист, фоторепортер и кинооператор. Пользуясь своим покровительством, с 1923 года работал в «Огоньке». Будучи женатым на дочери члена КПК Емельяна Ярославского, в качестве «осведомленного из партийных кругов» распространял антисоветские слухи. Впоследствии, когда Ярославская, оставив Кармена, стала женой полпреда в Испании Розенберга, Кармен сопровождал их в Испанию. Здесь во второй половине 1937 года возник страшный скандал, связанный с присвоением Карменом киноаппаратуры, принадлежавшей испанскому правительству. Кроме того, Кармен неоднократно вел антисоветские разговоры о необъяснимом разгроме в Москве старых партийных кадров.

Следователь не раз перебивал Кольцова, задавал уточняющие вопросы, а Михаил Ефимович все так же увлеченно разоблачал вчерашних друзей. Досталось артистам Берсеневу и Гиацинтовой, многим журналистам «Правды» и даже таким высокопоставленным сотрудникам НКВД, как Фриновский, Станиславский и Фельдман: всем им Кольцов давал такие убийственные характеристики, что следователю ничего не оставалось, как взять этих людей на заметку.

Сержант Кузьминов тоже вошел во вкус и требовал все новых подробностей. Кольцов снова садится за стол. Сперва он «накатал» тридцать одну страницу, потом – сорок, затем – еще семнадцать. В личных показаниях от 9 апреля довольно много места уделено контактам Кольцова с писателями. Трудно сказать, что за морок нашел на Кольцова, ведь он, не моргнув глазом, говоря тюремным языком, сдал хозяевам Лубянки таких известных писателей и поэтов, как Валентин Катаев, Евгений Петров, Илья Эренбург, Семен Кирсанов, Исаак Бабель, Борис Пастернак и многих, многих других. Некоторых из этих людей костоломы с Лубянки не тронули, но они навсегда остались на крючке у руководителей этого мрачного учреждения, а других, таких как Бабель, расстреляли.

Заканчивается этот, с позволения сказать, очерк очень серьезными признаниями.

«Таким образом, я признаю себя виновным:

1. В том, что на ряде этапов борьбы партии и советской власти с врагами проявлял антипартийные колебания.
2. В том, что высказывал эти колебания в антипартийных и антисоветских разговорах с рядом лиц, препятствуя этим борьбе партии и правительства с врагами.
3. В том, что создал и руководил до самого момента ареста антисоветской литературной группой редакции журнала «Огонек».
4. В том, что принадлежал в редакции «Правды» к антисоветской группе работников, ответственных за ряд антипартийных и антисоветских извращений в редакционной работе.
5. В том, что совместно с Оренбургом допустил ряд срывов в работе по международным связям советских писателей».

С этого момента на допросы его вызывать перестали. Бумаги, правда, не жалели, вот только ручку почему-то заменили карандашом. Позже мы узнаем, какие методы воздействия

применялись к Кольцову, но то, что они были эффективными, не вызывает никаких сомнений: с каждым месяцем Михаил Ефимович становился все податливее, и Кузьминов, ставший уже лейтенантом, делал с Кольцовым все, что хотел.

Скажем, в письменных показаниях от 3 мая 1939 года Кольцов от писателей перешел к дипломатам, с которыми у него, оказывается, тоже были антипартийные связи.

«В 1932 году я сблизился с Карлом Радеком, а также со Штейном, Уманским и Гнединым. Так как до этого я лишь случайно занимался международными вопросами, то они взяли меня просветить по ним.

Радек убеждал меня, что единственный природный союзник СССР – Германия, что существует группа “энтузиастов советско-германской дружбы”, что он является представителем этой группы и мне следует к ней примкнуть. В дальнейших, более интимных разговорах, он стал подчеркивать, что я-де со своими способностями могу очень выдвинуться в этом деле и сыграть большую роль.

При некоторых разговорах присутствовал американский журналист Луи Фишер, близкий друг одного из руководителей отдела печати наркоминдела Уманского. Помощь, которая требовалась от меня, заключалась в регулярной политической информации о внутренней жизни СССР, которая тут же передавалась немецким журналистам Юсту и Басехусу, с которыми я был лично знаком.

А вот Фишера я некоторое время сторонился. Но в конце 1935 года Радек сказал мне, причем при американце: “Вы напрасно не дружите с Фишером. Он стоит того. Он связан с нами. Надо ему помогать”. Я обещал ему содействие и оказал его, когда некоторое время спустя он обратился ко мне в Испании».

Что касается упомянутых Кольцовым дипломатов, то несколько позже, когда начались аресты сотрудников наркоминдела, показания Кольцова пришли как нельзя кстати.

Каждый писатель должен быть разведчиком

Видит Бог, как трудно мне перейти к следующей странице личных показаний Кольцова. Пока он рассказывал о себе, своих друзьях и сослуживцах, его рука была тверда и карандаш не ломался. А тут вдруг, что ни строка, то заново заточенный грифель: у Кольцова потребовали дать показания о его взаимоотношениях с Марией Остен (настоящая фамилия Грессгенер).

«С моей второй женой, немецкой коммунисткой Марией Остен, я познакомился в 1932 году в Берлине. Она работала в коммунистическом издательстве “Малик”. До меня ее знали Горький, Эренбург, Федин, Маяковский, Тынянов. Она уже бывала в СССР и хотела поехать на более продолжительное время. Я предложил поехать вместе со мной. Вскоре у нас началась связь, которая перешла в семейное сожитительство.

Мария Остен работала в московской немецкой газете, журнале “Дас ворт” и писала книгу о немецком мальчике-пионере, которого мы усыновили.

У нее были широкие связи в среде политэмигрантов, в частности с Геккертом, Пиком, Бределем, Пискатором, Отвальдом, а также с советскими литераторами Фединым, Тыняновым, режиссером Эйзенштейном и другими. Бывала у Радека.

Не скрою, что некоторые ее знакомства были крайне подозрительны, и разговоры, которые велись, носили откровенно антисоветский характер. Но так как я сам уже был повинен в более значительных преступлениях, то молчал и продолжал покровительствовать Марии. В 1935 году она ездила со мной в Париж, а в 1936-м в Испанию».

Эта поездка дорого стоила и ей, и самому Кольцову: напомним, что именно тогда возник конфликт с Андре Март и тот отправил донос Сталину. Кольцова, как мы знаем, вскоре арестовали, причем прямо в редакции «Правды», а Марию пока что не трогали. Дело в том, что к этому времени она рассталась с Кольцовым и вступила в интимную связь с известным немецким певцом Эрнстом Бушем. Больше того, во вторую поездку в Испанию она отправилась именно с Бушем.

Михаил Ефимович страшно переживал! Он помчался следом, нашел Марию, умолял ее вернуться, и в целях укрепления семьи предлагал усыновить двухлетнего испанского мальчика. Растроганная Мария тут же бросила Буша и вернулась к Кольцову!

Маленького Хосе, родители которого погибли во время налета на Мадрид, переименовали в Иосифа – понятно, в честь кого, упаковали нехитрые пожитки и собрались в Москву, но... что-то толкнуло Кольцова в сердце, и он решил возвращаться один, а жену с приемным сыном отправил в Париж.

Теперь становится ясно, почему Кольцов так спокойно рассказывает о Марии: он знает, что она в Париже и из Москвы ее не достать. Была еще одна деталь, о которой не знал следователь: осенью 1938-го, во время командировки в Чехословакию, Кольцов ухитрился позвонить в Париж и строго-настроено запретил Марии приезжать в Москву.

Если бы она послушалась! Если бы вняла советам друзей и не рвалась в Москву, сталинские палачи ограничились бы одной пулей, предназначенной Кольцову, а так – пришлось отлить вторую.

Но вернемся в 1939-й, когда все еще были живы, строили планы на будущее и искренне надеялись на то, что в НКВД во всем разберутся и все неприятности вот-вот будут позади: надо только ничего не утаивать, не обманывать и со следователем быть как на духу. Удивительно, но этому верил даже такой опытный, тертый и битый жизнью человек, как Михаил Кольцов. Только этим можно объяснить его странную откровенность. Ведь никто же не спрашивал его об Андре Мальро, но Кольцов по собственной инициативе пишет о нем в своих показаниях.

«Летом 1934 года на съезде писателей в Москве Илья Эренбург познакомил меня с французским писателем Андре Мальро. Он отрекомендовал его как “исключительного человека”, расписывал его популярность и влияние во Франции и очень рекомендовал с ним подружиться.

В мае 1935 года в Париже, в период организации конгресса, Мальро и Эренбург тесно сблизились со мной. Мальро жаловался на отсутствие поддержки со стороны французской компартии, на бюрократические препоны, которые ставит советский полпред Потемкин, и т. п. В ответ на это я предложил работать рука об руку, обещал все уладить, уломать всех чиновников в компартии и в полпредстве, и прочел целую лекцию о бюрократизме в партийных и советских органах.

Мальро слушал очень внимательно, и, наконец, сказал: “Все это мне очень полезно знать. Ведь недаром про меня болтают, что я агент министерства иностранных дел”. И добавил: “Не смущайтесь. Теперь такое время, что каждый писатель должен быть разведчиком. Ведь наш добрый друг Эренбург давно работает на нас. За это ему при любых условиях будет обеспечено французское гостеприимство. Будем работать вместе и помогать друг другу. Можно наделать больших дел”.

Будучи таким образом завербованным во французскую разведку, я в ряде откровенных бесед обрисовал Мальро положение дел в СССР, дал характеристики интересовавших его государственных, политических и военных деятелей, рассказал, кто “за” и кто “против” помощи Франции в ее борьбе против Германии.

От Мальро я узнал, что Алексей Толстой в период своей эмиграции был завербован французами и англичанами. Кроме того, используя свои поездки за границу, Толстой поддерживает прежние связи с русскими белогвардейцами, в частности, с Бунинным».

Потом Кольцов довольно подробно описывает свое пребывание в Испании, делая акцент на вредительской работе советских военных советников. Например, главный военный советник Григорий Штерн «не раз заявлял, что эта война обречена на неудачу, и он делает все от него зависящее, чтобы войну прекратить».

Став на этот путь, Кольцов уже не может остановиться. Особенно сильно досталось комбригу Павлову, который за боевые отличия в Испании был удостоен звания Героя Советского Союза. (Это тот самый Дмитрий Павлов, который в первые дни Великой Отечественной войны командовал Западным фронтом, а затем, якобы за допущенные просчеты, был расстрелян по личному указанию Сталина.)

«Командуя танковой бригадой, Павлов зарекомендовал себя как разложившийся в бытовом отношении человек, – пишет Кольцов. – В разгар боев в районе реки Харама, что под Гвадалахарой, он вместе с испанскими командирами устроил безобразную попойку. В результате танки не оказались в нужном месте, что привело к потере важных стратегических позиций. Знаю также, что руководимый Павловым штаб танковых частей присваивал себе излишки жалованья и эти суммы тратились на кутежи и попойки».

Пригвоздив таким образом к доске позора будущего Героя Советского Союза, а также сменившего его Грачева и еще целый ряд советских советников в генеральском звании, но памятуя о том, что самокритика – один из основных элементов партийносоветской жизни, Кольцов затачивает карандаш и с большевистской прямоотой берется за себя.

«Что касается меня, то я принимал самое активное участие во вражеской работе, занимался разлагающей деятельностью как среди испанских, так и среди советских работников, развивая в них скептическое отношение к исходу войны. А испанской интеллигенции в провокационных целях постоянно указывал на необходимость полного уничтожения церквей и священников, что сильно озлобляло простое население».

Затем следует традиционная для такого рода документов концовка, но с куда более зловещими формулировками.

«Таким образом, я признаю себя виновным:

1. В том, что, будучи завербованным Радеком, с 1932-го по конец 1934 года передавал шпионскую информацию германским журналистам.

2. В том, что покрывал и содействовал М. Остен в ее связи с английскими шпионскими элементами в среде немецких эмигрантов.

3. В том, что, будучи завербован Мальро и Оренбургом, сообщал им шпионские сведения для французской разведки.

4. В том, что, будучи в 1936–1937 годах в Испании, оказывал содействие американскому шпиону Луи Фишеру и сообщал ему шпионские сведения о помощи СССР Испании».

Жуть берет от этих признаний! Неужели Михаил Ефимович не понимал, что, давая такие показания, подписывает себе смертный приговор?! А ведь совсем недавно, беседуя с братом, он недоумевал, почему это командармы, герои Гражданской войны и старые партийцы, едва попав за решетку, мгновенно признаются в том, что они враги народа, шпионы и агенты иностранных разведок.

И действительно, почему? Неужели только потому, что не могли выдержать пыток? Едва ли, ведь среди них были люди, которые прошли пыточные камеры царских тюрем, и на каторгу ушли, не выдав товарищей. А тут – что ни дело, то просто лавина имен, фамилий, эпизодов и совершенно нелепых признаний.

Что касается Кольцова, то несколько позже мы поймем, почему он выбрал именно такую линию поведения. Единственное, чего он не учел, так это зловещего росчерка красного карандаша, приказывающего арестовывать, а то и уничтожать, всех, кто упомянут в том или ином деле. А ведь Кольцов назвал так много имен, что служакам с Лубянки ничего не оставалось, как, получив одобрение руководства, выписывать ордера на аресты.

И еще... По совершенно непонятной причине Михаил Ефимович не сказал ни одного доброго слова ни об одном из упоминавшихся им лиц.

Неужели его окружали одни негодяи, мерзавцы и проходимцы? Неужели у него не было друзей, которых он уважал, любил и почитал?

Справедливости ради надо сказать, что и о самом Кольцове далеко не все отзывались положительно. Сотрудницы «Правды» отзывались о нем как об известном бабнике и разложнице, не пропускавшем ни одной юбки. Известный в те годы журналист Гиршфельд рассказал о встречах Кольцова с сыном Троцкого Седовым, который давал ему директивы по контрреволюционной деятельности не только в Испании, но и в Советском Союзе.

А Наталья Красина, до ареста работавшая в «Правде», заявила: «Кольцов известный бабник и разложенец в бытовом смысле. Об этом все знали, так как помимо двух жен, которых пригреб в “Правде”, он не пропускал ни одной девушки и ухаживал по очереди за всеми нашими машинистками».

Не стал молчать и арестованный к этому времени Исаак Бабель, который заявил о связях Кольцова с Мальро отнюдь не по творческой, а по чисто шпионской работе.

Но самые поразительные показания дал Николай Ежов, тот самый Ежов, который уничтожил десятки тысяч людей, а потом сам оказался за решеткой, и затем в руках палача. Следователь спросил бывшего руководителя НКВД о том, кто был связан с его женой по шпионской работе. И вот что ответил Ежов: «На это я могу высказать более или менее точные предположения. После приезда журналиста Кольцова из Испании очень усилилась его дружба с моей женой, которая, как известно, была редактором “Иллюстрированной газеты”. Эта дружба была настолько близка, что жена посещала его даже в больнице во время его болезни. Я как-то заинтересовался причинами близости жены с Кольцовым и однажды спросил ее об этом. Вначале жена сказала, что эта близость связана с ее работой. Я как-то спросил, с какой работой – литературной или другой? Она ответила: и той и другой. Я понял, что моя жена связана с Кольцовым по шпионской работе в пользу Англии».

Вот так-то! Если нарком внутренних дел и его жена – шпионы, то что уж тут говорить о простых смертных. Шпионы – все, вся страна поголовно. Просто одни уже разоблачены и, само собой, признались в этом, а другие ждут своего часа.

Такое вот было время, так тогда жили...

Его показания родились из-под палки

Целый год продолжалось следствие по делу Михаила Кольцова – случай по тем временам беспрецедентный, обычно управлялись за два-три месяца. 15 декабря 1939 года Михаилу Ефимовичу было предъявлено обвинительное заключение, а 1 февраля 1940-го состоялось закрытое заседание Военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал на заседании один из самых зловещих субъектов тех лет – Ульрих.

Передо мной – протокол этого заседания. Само собой разумеется, он имеет гриф «Совершенно секретно» и отпечатан в одном экземпляре.

– Признаете ли вы себя виновным? – задал Ульрих формальный, и ничего не решающий, вопрос.

И тут судей ждал большой сюрприз! Протокол есть протокол, эмоции в нем не отражены, но можно себе представить, как говорил Кольцов и как слушал Ульрих. Не могу не привести выдержку из этого секретного документа.

«Подсудимый ответил, что виновным себя не признает ни в одном из пунктов предъявленных ему обвинений. Все предъявленные обвинения им самим вымышлены в течение 5-месячных избиений и издевательств, и изложены собственноручно. Весь

2-й том собственноручных показаний он написал по требованию следователя. Все показания он дал исключительно под избиением. Отдельные страницы и отдельные моменты являются реальными, но никому из иностранных журналистов он не давал никакой информации. С Луи Фишером встречался, но никогда не имел с ним антисоветской связи и в своих показаниях все выдумал. С Радеком тоже встречался, но не по антисоветской линии, а все показания дал исключительно под избиением.

Все показания, касающиеся Марии Остен, Андре Жида, а также вербовки в германскую, французскую и американскую разведки также вымышлены и даны под давлением следователя.

В предоставленном ему последнем слове подсудимый заявил, что никакой антисоветской деятельностью не занимался и шпионом никогда не был. Его показания родились из-под палки, когда его били по лицу, по зубам, по всему телу. Он был доведен следователем Кузьминовым до такого состояния, что вынужден был дать показания на совершенно невинных людей и признаться в работе на любые разведки мира. Все это – выдумка и вымысел. Все его показания могут быть легко опровергнуты, так как никем не подтверждены.

Ни в одном из предъявленных ему пунктов обвинения виновным себя не признает и просит суд разобраться в его деле и во всех фактах предъявленных ему обвинений.

Затем суд удалился на совещание».

Давайте-ка, дорогие читатели, переведем дыхание. Все это настолько чудовищно, что, честное слово, волосы встают дыбом. Сколько наговорил, напридумывал и написал Кольцов, сколько возвел напраслины на себя и на друзей – и все ради того, чтобы вырваться из рук костолома Кузьмина, дожить до суда и там, в присутствии серьезных и солидных людей, объяснить, насколько бездоказательны предъявленные ему обвинения, насколько нелепы детали самоговора! Такой была стратегия его поведения.

Но у судей была своя логика, и они руководствовались не законом и тем более не здравым смыслом, а тем самым росчерком красного карандаша – в этом мы, кстати, убедимся. И подтвердит это не кто иной, как сам Ульрих.

А пока что судьи вернулись с совещания и огласили приговор: «Кольцова-Фридлянд Михаила Ефимовича подвергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Здесь же, в деле № 21 620, подшита скромненькая справка, подписанная старшим лейтенантом Калинин: «Приговор о расстреле Кольцова Михаила Ефимовича приведен в исполнение 2 февраля 1940 года».

И – все! Человека не стало... Но вот что самое удивительное: даже мертвый, Михаил Ефимович не давал покоя ни партии, ни правительству. Так случилось, что в конце января 1940-го у Бориса Ефимова не взяли деньги, которые он хотел передать брату, и сообщили, что по делу Кольцова следствие закончено. Тот заметался, хотел нанять адвоката, написал об этом Ульриху, а потом, будучи в полной панике, прямо с Центрального телеграфа отправил телеграмму Сталину.

Ответа, конечно, не было, и Ефимов просто так, на всякий случай, заглянул в канцелярию Военной коллегии.

– Кольцов? Михаил Ефимович? – раскрыл толстенную книгу дежурный. – Есть такой. Приговор состоялся первого февраля. Десять лет заключения в дальних лагерях без права переписки.

А вскоре на квартире Ефимова раздался телефонный звонок, и ему сообщили, что его готов принять Ульрих. Не буду рассказывать об этой странной встрече, она довольно красочно описана в воспоминаниях Бориса Ефимова. Отмечу лишь два характерных нюанса.

Первое, что меня поразило, так это какое-то болезненное иезуитство Ульриха: Кольцов уже расстрелян, его тело сожжено в крематории, а Ульрих зачем-то беседует с его братом, рассказывает, как проходил процесс, и уверяет, что Михаил Ефимович получил 10 лет без права переписки.

И второе. То, что сболтнул Ульрих, дорогого стоит, ибо, если так можно выразиться, ставит все точки над «і». Когда Ефимов поинтересовался, признал ли брат себя виновным, Ульрих ответил:

– Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция!

Яснее не скажешь... Вот что значит один недовольный взгляд «хозяина», вот что значит показаться ему «слишком прытким».

Как отливали вторую пулю

Расстрел Кольцова – это еще не конец этой грустной, печальной и трагической истории сравнительно недалекого прошлого. Одну пулю палачи использовали, вторую же только отливали – ведь Мария Остен пока что была на свободе. Как это ни жаль, но она не поскупилась мужа и, узнав из парижских газет об аресте Кольцова, которого обвиняли в том, что он является шпионом нескольких иностранных разведок и, в частности, связан с германской шпионкой Остен, Мария решила, что одним своим появлением в Москве опровергнет эту чудовищную ложь. Ее отговаривали, пугали, но она была тверда – и вскоре вместе с маленьким Иосифом появилась в Москве.

Вначале это прошло незамеченным. Но Мария развила такую активную деятельность, что на нее обратили внимание, тем более, что она не только пыталась узнать, что с Кольцовым, но даже подала бумаги с просьбой о предоставлении советского гражданства. Так прошел 1939-й, наступил 1940-й, а Мария все бегала по кабинетам. И – добегалась...

Передо мной дело № 2862 по обвинению Остен-Грессгенер Марии Генриховны. Знаете, когда оно начато? 22 июня 1941 года. Представляете, фашистская авиация бомбит наши города, танковые клинья утюжат деревни, моторизованные колонны фашистской солдатни расстреливают все живое, но народному комиссару государственной безопасности Меркулову и его последышам не до этого – у них свое кровавое дело. Вместо того, чтобы писать рапорты с просьбой немедленно отправить их на фронт, они спешат подписать постановление об аресте и без того несчастной и беззащитной женщины.

Через день доблестные чекисты с наганами на изготовку ворвались в 558-й номер «Метрополя», где проживал враг народа в женском обличье, перевернули все вверх дном, изъяли в пользу государства один сарафан, две пары трусов, одну пару туфель и пять носовых платков, а хозяйку этого имущества бросили во Внутреннюю тюрьму.

Обвинения, которые предъявили Марии, настолько нелепы, что просто диву даешься, как можно было принимать их всерьез. Судите сами: Марии заявили, что она является германской и французской шпионкой одновременно. Франция находится в состоянии войны с Германией, больше того, Франция побеждена и наполовину оккупирована, а Мария Остен поставляет Франции разведданные о Германии, а Германии – о побежденной Франции. Само собой разумеется, что обе страны получают секретную информацию о Советском Союзе.

Как и положено, в деле имеется анкета арестованной, заполненная самой Марией. В графе «состав семьи» она упоминает отца, мать, сестру, приемного сына Иосифа, но почему-то пишет, что она незамужняя. Почему? Скорее всего, потому, что не хотела компрометировать Кольцова. Ведь в ЗАГСе они не были и жили в так называемом гражданском браке, а это давало ей право считать себя для Кольцова чужим человеком, за которого он не несет никакой ответственности. А раз она чужой человек, то никто не сможет ему сказать: сам шпион и жена шпионка – одного поля ягоды.

Первый допрос, состоявшийся 25 июня, был очень коротким. Но Мария успела сообщить, что в Москве живет по виду на жительство для лиц без гражданства, что с 1926 по 1939-й была членом германской компартии, что с Михаилом Кольцовым познакомилась весной 1932 года в Берлине, когда он был в гостях у немецкого режиссера Эрвина Пискатора.

На следующий день, видимо, боясь, что ее освободят соотечественники, Марию этапировали в Саратов, и ее дело принял к своему производству лейтенант Жигарев. Этот следователь решил не ходить вокруг да около, а сразу взял быка за рога.

– Признаете себя виновной? – спросил он на первом же допросе.

– Нет, не признаю, так как шпионской деятельностью не занималась, – ответила Мария.

– Вы лжете! Следствие располагает достоверными материалами о ваших шпионских связях.

– Мне не о чем говорить, – обезоруживающе улыбнулась Мария. – Понимаете, не о чем.

– Прекратите лгать! Назовите соучастников! – грохнул кулаком по столу Жигарев.

– Никаких соучастников у меня не было, – вздохнула Мария.

Тогда лейтенант зашел с другой стороны.

– Что вам известно об антисоветской работе Кольцова? – как бы между прочим спросил он.

– Ничего! – отрезала Мария и почему-то радостно улыбнулась.

Следователь ничего не понял и зарылся в бумаги.

А Мария ликовала!

«Раз спрашивают о Михаиле, значит, он жив, – думала она. – Жив! Господи, как же я рада. Значит, дадут ему лет десять— пятнадцать, мне – тоже, а где-нибудь в Сибири мы встретимся. Мы обязательно встретимся. Так что эту волюнку пора заканчивать, и как можно быстрее».

Поэтому на требование следователя приступить к даче правдивых показаний о ее вражеской деятельности, Мария, все так же улыбаясь, ответила:

– Я прошу следствие помочь мне разобраться в совершенных преступлениях, так как я сейчас не знаю, что совершила вражеского против Советского Союза.

А потом пошли рутинные вопросы с уточнением имен друзей и знакомых, дат и городов, где происходили встречи, требованиями вспомнить, кто, что и о ком сказал. Время от времени он возвращался к Кольцову и просил рассказать, каким он был в быту и на работе, какую оказывал помощь в чисто творческих вопросах, что писал сам и что писала Мария. Она отвечала, что в быту Кольцов был мягким человеком, любил ходить в рестораны, врашаться предпочитал в писательско-артистической среде.

– Но зачем вы все-таки из благополучного и безопасного для вас Парижа приехали в Москву? – задал наконец Жигарев давно мучивший его вопрос. – Ведь вы же знали, что Кольцов арестован и что за связь с ним к ответственности могут привлечь и вас.

– Потому и приехала. Я не могла не приехать. Это надо было сделать для очищения своей совести и для того, чтобы реабилитировать себя перед друзьями.

– О какой реабилитации речь?! – вскинулся лейтенант. – Ведь вы же порвали связь с Кольцовым еще в 1936 году!

– Мы прервали интимные отношения, но остались большими друзьями. Он писал мне письма, помогал в работе, я посылала ему свои рассказы, а он давал им оценку – и вообще, он учил меня писать.

Вскоре допросы прекратились – верный признак, что следствие по делу Марии близилось к завершению. 6 декабря 1941 года ей предъявили обвинительное заключение. И хотя следователь отметил, что «в предъявленном обвинении Мария Остен виновной себя не признала», он рекомендовал определить ей высшую меру наказания.

А потом была какая-то странная пауза: то ли Особое совещание было загружено такого рода делами, то ли ощущалась нехватка патронов – за это время немцы подошли к Сталинграду, но дело Марии Остен рассматривалось лишь 8 августа 1942 года. Приговор был ужасающе краток: «Остен-Грессгенер Марию Генриховну за шпионаж расстрелять». 16 сентября приговор был приведен в исполнение.

Так была выпущена вторая пуля, поразившая еще одно любящее сердце.

Михаил Кольцов и Мария Остен... Две трагических жизни, две трагических судьбы. Никто не знает, какими мучительными были последние минуты их жизни, но ни секунды не сомневаюсь, что в самое последнее мгновение Михаил попрощался с Марией, а Мария – с

Михаилом. А это верный залог, что в той, другой, жизни они снова будут вместе – теперь уже навсегда.

Голгофа красных дипломатов

Вообще-то, до октября 1917-го красными называли всех революционно настроенных людей, а вот после того, как к власти пришли большевики, красным мог быть только тот, кто связан с советским строем. Иначе говоря, красный – это значит советский.

Так что красными были все: красные профессора, красные доктора, красные дипломаты. Были даже красные графы и красные князья – это те, кто не сумели сбежать за границу и были вынуждены работать на советскую власть.

Что касается красных дипломатов, то после переезда правительства в Москву первое время они работали на Спиридоновке и Малой Никитской, а потом перебрались в гостиницу «Метрополь». Три года дипломаты ютились в гостиничных номерах, и лишь осенью 1921-го заняли хорошо известное здание на Кузнецком Мосту. К этому времени в Народном комиссариате по иностранным делам числилось более 1200 сотрудников.

Забавная деталь! Как раз в эту пору красные дипломаты начали выезжать за границу, в том числе и на Генуэзскую конференцию, а одеты они были кто во что горазд – в косо-воротки, кожанки или потертые пиджачки. Между тем как по протоколу они должны быть облачены в смокинги и фраки. Сохранилась любопытная фотография тех лет: на фасаде НКИДа красуется непривычно броская вывеска: «И.К. Журкевич».

Думаете, это фамилия наркома или какого-нибудь партийного деятеля? Ничуть не бывало! Журкевич – это фамилия портного, который прямо в здании НКИДа открыл свою мастерскую и обшивал отъезжающих за границу красных дипломатов.

Этот портной был настолько известен, что даже попал на станицы «Золотого тельца». С присущей им лихостью Ильф и Петров писали: «Над городом стоял крик лихачей. И в большом доме Наркоминдела портной Журкевич день и ночь строчил фраки для отбывавших за границу советских дипломатов».

С этим домом связаны и первые победы советской дипломатии, и горькие поражения, и, что самое страшное, чудовищные сталинские репрессии. Более двухсот уникальных специалистов, иначе говоря, цвет советской дипломатии, были уничтожены так называемыми «соседями» (НКВД – прямо через дорогу) в 30—40-е годы прошлого века. По воспоминаниям ветеранов, по пустым коридорам Надкоминдела буквально гулял ветер. Красные палачи с Лубянки расстреливали всех: полпредов и консулов, машинисток и шоферов, поваров и дипкурьеров, секретарей и заместителей наркома. Все они были объявлены либо врагами народа, либо заговорщиками, либо шпионами каких угодно государств.

А ведь эти «шпионы» внесли такой неоценимый вклад в дело международного признания Советского Союза, что плоды их деятельности мы пожинаем до сих пор. Я расскажу о некоторых из них, о тех, чьи имена на долгие годы были преданы забвению, и лишь теперь в коридорах МИДа звучат с величайшим уважением.

От Бреста до Стамбула

Передо мной выписка из уголовного дела заместителя наркома иностранных дел Льва Михайловича Карахана. Вот что там говорится:

«Карахан Л.М. признан виновным в том, что он с 1934 года является участником анти-советского заговора правых, в который был завербован Ягодой, и по поручению заговора вел переговоры с представителями германского Генерального штаба об оказании заговору вооруженной помощи со стороны Германии. Кроме того, с 1927 года Карахан является агентом германской разведки, которой передавал секретные сведения о решениях директивных органов по вопросам внешней политики советского правительства.

Решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 20 сентября 1937 года осужден по ст. 58—1а и 58—11 УК РСФСР и приговорен к расстрелу».

Так кем же был на самом деле «заговорщик» и «шпион» Лев Михайлович Карахан (он же Леон Михайлович Караханян)? Родился он в Тифлисе, в довольно обеспеченной и благополучной семье армянского адвоката. Пойти бы ему по стопам отца, и все было бы иначе: наверняка Леон прожил бы не сорок восемь, а, быть может, сто лет; так нет же, читался книжек про свободу, равенство и братство и решил бороться за счастье угнетенного народа. Пятнадцатилетним гимназистом он вступил в РСДРП – и пошло-поехало. Из гимназии его, грубо говоря, выперли, а когда, сдав экстерном экзамены за гимназический курс, получил аттестат зрелости и поступил на юридический факультет Петербургского университета, через год вышибли и оттуда. Потом были аресты, ссылки, жизнь под надзором полиции – словом, все, что положено борцу за счастье народа.

Как бы то ни было, но надо признать, что Карахан при большевиках карьеру сделал отменную: в 1917-м он один из руководителей штурма Зимнего, а в 1918-м в составе советской делегации выезжает в Брест и участвует в подписании грабительского мира с Германией. Брестский мир заключили в марте, а в мае Лев Карахан становится заместителем наркома иностранных дел. Тифлисскому армянину всего-то 29 лет, а он уже замнаркома, то есть, говоря современным языком, заместитель министра иностранных дел – это ли не блестящая карьера?!

Его непосредственный начальник нарком Чичерин был в таком восторге от своего заместителя, что написал Ленину неумеренно восторженную аттестацию на Карахана: «Я могу смело сказать, что наша борьба с затопляющей нас страшно ответственной политической работой за последние месяцы при развитии сношений с массой государств была героической. Мы в состоянии с этим справиться только потому, что я с тов. Караханом абсолютно спелись, так что на полуслове друг друга понимаем без траты времени на рассуждения. В общем и целом у меня более общая политическая работа, у него же море деталей, с которыми он может справиться только благодаря своей замечательной способности быстро и легко ориентироваться в делах и схватывать их, своему ясному здравому смыслу и своему замечательному политическому чутью, делающему его исключительно незаменимым в этой области».

Ленин тоже проникся особым доверием к Карахану: многие документы Ильич подписывал лишь после того, как на них ставил свою визу Карахан.

Так было до 1923 года, когда Карахана направили в Южный Китай, где было создано демократическое правительство во главе с Сунь Ятсеном, убежденным сторонником сотрудничества с Советской Россией. Правда, до этого Лев Михайлович успел побывать полпредом в Польше, а в период Генуэзской конференции, когда Чичерина не было в Москве, Карахан исполнял обязанности наркома.

Учитывая то, что в Северном Китае, то есть в Пекине, заседало совсем другое правительство, которое не разделяло взглядов Сунь Ятсена, задачей Карахана было не только установить дипломатические отношения с Южным Китаем, но и способствовать победе Сунь Ятсена во всем Китае. Не случайно же почти одновременно с Караханом в Южный Китай была направлена группа военных советников во главе с Блюхером и Путной (через 15 лет все они будут расстреляны как шпионы и враги народа). Да и два миллиона долларов, направленных из голодающей России просоветски настроенным китайцам, тоже чего-то стоили.

Все это возымело свое действие, и в одном из первых сообщений в Москву Карахан пишет: «Нет ни одной китайской газеты, которая не приветствовала бы моего приезда и не требовала бы немедленного урегулирования отношений с нами».

Газеты – газетами, но переговоры с Пекином по-прежнему шли ни шатко ни валко. И хотя в Москве и в Пекине находились дипломатические представительства обеих стран, Пекин упорно не признавал Советского Союза. Карахан неделями не выходил из дома, его никто не навещал, телефон молчал, почту не приносили. От нечего делать Лев Михайлович занялся английским, да как успешно, что в одном из писем с гордостью сообщал: «Месяца через два смогу читать газеты, а это главное». Когда же пришла весть о кончине Ленина, Карахан был так потрясен, что его едва не хватил удар, а когда пришел в себя, написал в своем дневнике: «Было чувство, что умер родной отец, самый близкий человек».

Потом Лев Михайлович перебрался в Пекин и так успешно провел переговоры с правительством, что вскоре с Северным Китаем были установлены официальные дипломатические и консульские отношения.

Карахан ликовал! «Одна гора свалилась с плеч, – сообщал он 2 января 1924 года. – Подписал соглашение с Китаем, на этот раз окончательно. Дьявольски трудно было добиться результатов. Весь дипломатический корпус делал все, чтобы сорвать дело. Но удалось провести всех. Для дипломатического квартала – это разорвавшаяся бомба. Я рад этому больше всего».

Так Лев Михайлович стал послом, а затем и дуайеном, то есть главой всего дипломатического корпуса в Пекине.

Справившись с одним делом, Карахан тут же берется за другое: пытается наладить дипломатические отношения с Японией. Переговоры с японским посланником шли очень туго.

«Последние дни у меня большое оживление с японцами, – писал он, – заседания два раза в день. Сидим по четыре часа подряд. Утомительно, но я гоню вовсю. Японцы с привычки к концу заседания начинают заметно пухнуть. Но это только весело и полезно для дела».

Для дела это действительно было полезно: в январе 1925 года СССР и Япония заключили Конвенцию об установлении дипломатических и консульских отношений. Больше того, японцы обязались в течение четырех месяцев вывести свои войска с Северного Сахалина, а Советский Союз не возражал против предоставления японцам концессий на разработку минеральных и лесных богатств на севере Сахалина.

«Исторические заслуги Л.М. Карахана перед СССР пополняются блестящими страницами его дипломатических работ и переговоров с Японией», – писала выходящая в Харбине белоэмигрантская газета «Новости жизни». – За этот мир с нашими великими соседями история отметит на своих страницах блестящую роль дипломатического ума и такта Л.М. Карахана»

В Китае той поры было очень неспокойно: перевороты, заговоры, свержения одних правительств, приход к власти других. Был случай, когда Карахану объявили, что правительство не отвечает за его личную безопасность и ему лучше отбыть на родину, но Лев Михайлович не дрогнул и продолжал исполнять свои обязанности полпреда.

Так продолжалось до сентября 1926 года, когда Карахана отозвали в Москву: формальным поводом был долгожданный отпуск. Но в Китай Лев Михайлович больше не вернулся. В Москве он занял свой прежний кабинет заместителя наркома, отвечающего за отношения СССР со странами Востока. В эти годы он наносил официальные визиты в Турцию, Иран, Монголию, а в 1934-м был назначен полпредом СССР в Турции.

Когда его успел завербовать тогдашний нарком внутренних дел Ягода, как он стал участником антисоветского заговора правых и, тем более, как стал агентом германской разведки, история умалчивает, да и в уголовном деле каких-либо доказательств этих преступлений нет. Чем Карахан не угодил Сталину, одному Богу ведомо, но то, что без его личного указания известного во всем мире дипломата никто не посмел бы и пальцем тронуть, – по моему, не вызывающий сомнений факт.

И вот что еще любопытно. Жены «врагов народа» в те годы рассматривались либо как существа, отравленные тлетворным влиянием своих супругов, либо, что еще хуже, знавшие, чем занимаются их мужья, но не сообщившие об этом в компетентные органы, – это называлось недоносительством. Наказание за это следовало незамедлительно: самое мягкое – семь-восемь лет Колымы или Воркуты, самое жесткое – расстрел. Так вот жен Карахана почему-то не тронули: ни Клавдию Манаеву, на которой он женился еще до революции, ни довольно популярную театральную и киноактрису Веру Джениеву, к которой он ушел в 1919-м, ни известнейшую балерину Марину Семенову, которая стала его женой в 1930-м.

Реабилитировали Льва Михайловича Карахана лишь в 1956-м. С тех пор он чист – чист перед историей, чист пред страной, чист пред российской дипломатией.

Девятый арест

Эту стенограмму так долго прятали в бронированных сейфах, что пожелтевшая от времени бумага стала похожа на древний пергамент. Брать ее в руки боязно, и не только потому, что бумага трескается и крошится, – бумага пахнет, пахнет предательством, кровью и невиданной жестокостью. Сколько бы нам ни говорили, что изуверские и садистские годы сталинского режима осуждены таким-то и таким-то съездом партии, память о них никогда не уйдет из сознания народа, ибо она не только в наших сердцах, но и в наших генах, она передается по наследству, она всегда будет с нами.

И это хорошо! Забывать людоедский шабаш дорвавшихся до власти кровавых маньяков нельзя хотя бы потому, чтобы избежать его повторения. Ну что дурного мог сделать больной, полуслепой человек далеко не первой молодости, восемь раз арестовывавшийся царскими жандармами, а потом верой и правдой служивший советской власти, будучи полпредом в Германии, и несколько позже – заместителем наркома иностранных дел?! Вся его работа была на виду, каждый его шаг запротоколирован, все контакты происходили лишь с санкции руководства, причем при неперемennom условии, что они пойдут на пользу делу.

И что же?... В стенограмме заседания Военной коллегии Верховного суда СССР от 2 марта 1938 года черным по белому записано:

«Обвиняемый Крестинский Н.И. по прямому заданию врага народа Троцкого вступил в изменническую связь с германской разведкой в 1921 году.

Председательствующий В.В. Ульрих:

– Посудимый Крестинский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях?

Крестинский:

– Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником правотроцкистского блока, о существовании которого даже не знал. Я не совершал также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности, я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.

Председатель:

– Повторяю вопрос: вы признаете себя виновным?

Крестинский:

– Нет, так как до ареста я был членом ВКП (б). Остаюсь им и сейчас».

Такая позиция Крестинского никак не устраивала ни Ульриха, ни Вышинского, которые изо всех сил наседали на бывшего полпреда. По делу проходил 21 человек, 20 признали себя виновными, и лишь один Крестинский упрямится. Что ж, ему же хуже!

Председательствующий объявил перерыв... А на следующий день, не дожидаясь вопросов, Крестинский заявил:

– Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком признаю себя виновным по всем обвинениям, предъявленным лично мне.

Откуда такая сговорчивость? Это выяснилось через восемнадцать лет, когда допрашивали бывшего начальника санчасти Лефортовской тюрьмы Розенблюма.

– Крестинского с допроса доставили к нам в санчасть, – рассказывал Розенблюм. – Он был тяжело избит, вся спина представляла собой сплошную рану, на ней не было ни одного живого места.

А еще через десять дней Крестинский признал не только то, что является участником правотроцкистского блока и немецким шпионом, но даже то, что провоцировал военное нападение на СССР «с целью поражения и расчленения Советского Союза и отторжения от него Украины, Белоруссии, Среднеазиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и

Приморья на Дальнем Востоке, имея своей конечной целью восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии».

Приговор был оглашен 13 марта: расстрел. Заодно вlepили восемь лет его жене, которая была главным врачом детской Фи-латовской больницы, а дочь отправили в ссылку.

...А ведь как хорошо все начиналось. Гимназия – с золотой медалью, затем юридический факультет Петербургского университета, должность присяжного поверенного. Жить бы ему и дальше на Невском проспекте, выступать в суде, защищая обеспеченных петербуржцев, если бы не увлечение большевистской литературой. Со временем Николай Крестинский и сам стал пописывать, печатаясь в «Правде».

Первой официальной должностью, которую занимал Крестинский в большевистском правительстве, стал пост министра финансов. Затем некоторое время был членом Политбюро и даже Оргбюро ЦК партии, а в 1921-м Чичерин предложил назначить его полпредом в Германии. Будто предчувствуя неладное, Крестинский отбивался изо всех сил: «Удивляюсь Вашему предложению при наличии более подходящих кандидатур. Ваше предложение категорически отклоняю!» – писал он Чичерину. Но тот проявил настойчивость, тем более, что его активно поддерживал Ленин. Не помогло даже то, что в сохранившейся анкете той поры на вопрос: «Какие иностранные языки знаете?», Крестинский ответил: «Никаких».

Но агрeман, то есть согласие на его назначении полпредом, немцы дали далеко не сразу. Поначалу кандидатура Николая Крестинского, секретаря ЦК и недавнего члена Политбюро, вызвала категорические возражения со стороны германского МИДа. И лишь после того, как в Кремле заявили, что в Москве не смогут принять главу германского представительства до тех пор, пока в

Берлине не примут Крестинского, немцы дали отмашку – и ноябре 1921 года Николай Крестинский прибыл в Берлин.

С первых же дней Крестинскому пришлось, в самом прямом смысле слова, засучить рукава. Подготовка к Генуэзской конференции, подписание Рапалльского договора между Советской Россией и Германией, участие в Гаагской конференции – все это требовало огромных сил и колоссального напряжения ума.

А потом начался период, если так можно выразиться, незаконных, но очень тесных брачных отношений между СССР и Германией. Тут и буйно расцветшая торговля, и обмен специалистами, и контакты Красной Армии и рейхсвера, и строительство в Советском Союзе военных заводов, которые часть своей продукции передавали Берлину, а часть оставляли Москве, и создание авиационных и танковых училищ под Липецком и Казанью, в которых учились будущие немецкие асы и авторы всеограшающих танковых клиньев, и многочисленные командировки наших военачальников в немецкие военные академии, где они перенимали опыт Людендорфа и Гинденбурга.

Как только к власти пришел Гитлер, этот роман закончился, и вчерашние друзья снова стали непримиримыми врагами. Но Крестинский первых признаков этого похолодания не застал: летом 1930-го его отозвали в Москву и назначили первым заместителем наркома, которым к этому времени стал Максим Литвинов (настоящая фамилия Валлах). О степени доверия Сталина к Николаю Крестинскому говорит хотя бы тот факт, что квартиру ему предоставили не в городе, а в Кремле, по соседству с Орджоникидзе и вдовой Якова Свердлова.

За работу Крестинский взялся рьяно, бывало, что свет в его кабинете горел до двух-трех часов ночи. Но сотрудники не роптали: отвыкшие от общения с культурными, вежливыми и интеллигентными руководителями, они не скрывали своей любви к шефу и ради него были готовы на все. А ему без их помощи тоже было не обойтись: видел он совсем плохо, газеты и документы читать не мог, резолюции ставил там, где ему показывали, важнейшие доклады и сообщения воспринимал на слух.

Но как ни плохо он видел, а кого хотел, замечал издалека: видимо, помогало то самое внутренне зрение, которое иногда называют человеческой порядочностью. В 1935-м вся чиновная Москва знала, что Николай Бухарин попал в опалу и вот-вот его должны арестовать. И надо же так случиться, что все прекрасно понимавший Бухарин махнул рукой на условности и всякого рода предупреждения и, как большой любитель оперы, отправился в Большой театр. Ближайшие кресла мгновенно опустели! В антракте никто не решался выйти в фойе, где в полном одиночестве прогуливался недавний «любимец партии». И только Крестинский, которому проще всего было не заметить одиноко прохаживавшегося Бухарина, подошел к нему, тепло поздоровался и долго с ним разговаривал. Чуть позже, отвечая не немой укор жены, Крестинский, как нечто само собой разумеющееся, бросил:

– Ему сейчас не сладко, надо поддержать человека в трудную минуту.

Он-то своего старого товарища поддержал, а вот его...

Однажды Крестинского вызвал Сталин и, как бы между прочим, предложил перейти на другую работу.

– Ведь вы когда-то были близки к оппозиции, – сказал он. – Это знают и за границей. Согласитесь, что неудобно держать в Наркоминделе, да еще на таком высоком посту, человека, который не всегда разделял линию партии. Иностранцы могут нас не понять... По образованию вы, кажется, юрист? Кому же, как не вам, быть заместителем наркома юстиции! Крыленко нужно помочь, у него там не все ладно.

Помочь Крыленко уже никто не мог: в предчувствии ареста он стал по-черному пить и никакими делами це занимался. Не успел заняться новым делом и Крестинский: 20 мая 1937 года за ним пришли, причем прямо в его кремлевскую квартиру. Николай Николаевич был спокоен. Мудрый человек, он прекрасно понимал, где живет и с кем имеет дело. Николай Николаевич попрощался с женой, подслеповато щурясь, улыбнулся дочке, шагнул за дверь, и уже оттуда, из далекого небытия, донесся его ровный голос:

– Учись, дочка. Знай, что я ни в чем не виноват.

«Пусть Сталин сперва завоеует доверие»

Можете ли вы представить себе человека, который бы открыто, с трибуны партийного съезда, бросил такие слова в адрес заседавшего в президиуме и набиравшего силу отца народов?! Одни скажут: «Никогда и ни при каких обстоятельствах». Другие, малость поразмыслив, философски заметят, что, мол, едва ли, если, конечно, этот человек не был смертельно болен и не хотел свести счеты с жизнью.

Но и это не все! Заинтригую вас еще больше. Что вы скажете, если узнаете, что этот же человек требовал избрания нового генерального секретаря партии, освободив от этой должности Сталина, и не изменил своей точки зрения даже после ночного звонка Иосифа Виссарионовича, который просил его отказаться от своих слов? И тогда Сталин в пока что бессильной ярости процедил: «Ну, смотри, Григорий, ты еще об этом пожалеешь!»

Эти события происходили в декабре 1925-го. А неразумно храбрым человеком был Григорий Яковлевич Сокольников (он же Гирш Янкелевич Бриллиант). Как только ни называл его в свое время Ленин – и любителем парадоксов, и ценнейшим работником, и милым и талантливым большевистским финансистом, и даже советским Витте (по аналогии с довольно прогрессивным и даровитым царским министром финансов).

К этому можно добавить, что сын местечкового врача с Украины, который сперва служил в Полтавской губернии, а, перебравшись в Москву, завел собственную аптеку, был еще и прекрасным полководцем: в годы Гражданской войны он был членом Реввоенсовета то Восточного, то Южного фронтов, и даже командующим 8-й армией, которая билась за Воронеж, освобождала Луганск, Ростов и дошла до Новороссийска. Потом был Туркестан, борьба с басмачеством и... совершенно неожиданное назначение сначала заместителем, а потом и наркомом финансов.

Справедливости ради надо сказать, что в первые послеоктябрьские месяцы Сокольников уже занимался всякого рода экспроприациями, он даже возглавлял Комиссариат бывших частных банков, но эту организацию быстро упразднили – так что разобраться в хитросплетениях финансовых потоков Сокольников не успел.

Хозяйство досталось ему, прямо скажем, аховое! В стране ходили дензнаки номиналом в миллион и даже миллиард рублей, которые называли «лимонами» и «лимардами», на черном рынке процветала спекуляция, чтобы купить буханку хлеба, надо было потратить триллион, а то и квадриллион этих самых дензнаков.

И вдруг откуда ни возьмись появился червонец! Он приравнивался к царской золотой десятирублевке. Пошли в ход и серебряные гривенники. Все кинулись обменивать дензнаки на червонцы: принимали их без ограничений из расчета 30 тысяч дензнаков за один червонец.

Народ ликовал! Признали червонец и за границей. А Григорий Сокольников стал настолько популярен, что Сталин решил зажечь на его пути красный свет: в 1926-м Сокольников освободили от обязанностей наркома финансов, перебросили в Госплан и поручили заняться разработкой первого пятилетнего плана развития народного хозяйства. Вникнув в дело, Сокольников тут же ударил в набат! От него требовали большого скачка, а он закладывал в пятилетку такие цифры, которые обеспечивали бы проведение плавной индустриализации, как он говорил, «с наибольшей безболезненностью для масс».

– Что еще за безболезненность?! – раздался грозный оклик из Кремля. – Массы пойдут на любые жертвы. А их заступника от разработки первой пятилетки отстранить!

И отстранили... Некоторое время Сокольникову доверяли какие-то второстепенные хозяйственные посты, пока наконец не сочли за благо отправить его с глаз долой: в 1929-м Григория Яковлевича назначили полпредом СССР в Великобритании. Английские газеты,

выражавшие официальную точку зрения, были в восторге! Вот что, например, писали в одной из них:

«Назначение Сокольникова советским послом в Англии является благоприятным предзнаменованием для дружественного развития англо-советских отношений. Новый посол является наиболее подходящим лицом для представительства России в предстоящих трудных и сложных переговорах. Его персональное обаяние, независимость его ума и характера в соединении с авторитетом и уважением, которыми он пользуется в России, являются наиболее ценными качествами для чрезвычайно трудной задачи, стоящей перед ним».

И действительно, дело пошло на лад. Одно за другим были подписаны важные соглашения, среди которых – торговое, о рыболовстве и ряд других. Произошли положительные сдвиги и в советском экспорте: за три года Великобритания переместилась с двадцать первого на шестое место. Небывало плодотворными стали личные контакты. На всякого рода приемы и завтраки, устраиваемые в полпредстве, охотно приходили такие известные люди, как Ллойд Джордж, Уинстон Черчилль, Бернард Шоу, Бернард Рассел, леди Астор и многие другие. Самого Сокольникова и его жену, писательницу Галину Серебрякову, с удовольствием принимали в самых аристократических и финансово-промышленных домах Лондона.

Англичане были просто изумлены, что в лапотной красной России есть такие интеллигентные, обаятельные и культурные люди. Вот как писала о Сокольникове той поры его супруга:

«Его изысканные манеры, чистое, то, что называется аристократическим, лицо с прямым гордым носом, продолговатыми, темными глазами, высоким, необыкновенно очерченным лбом – вся его осанка хорошо вытреннированного и сильного физически человека вызывали изумление английской знати».

Как ни странно, англичанам вторили вчерашние белогвардейцы. В их газетах, выходящих в Париже, появились статьи с недвусмысленными заголовками: «Сталин и Сокольников» и, что более рискованно, «Сталин или Сокольников?». Речь в них шла о принципиально важном, о том, кто победит: Сокольников, который является сторонником сосуществования двух систем и верности взятым на себя обязательствам, или Сталин, который по-прежнему не только мечтает о победе мировой революции, но и всячески к этому стремится.

Прочтя все это, Григорий Яковлевич не на шутку встревожился: противопоставление Сталину, да еще не в его пользу, чревато вполне определенными последствиями. А тут еще, как черт из табакерки, выскочил Троцкий, и тоже с дифирамбами! «Григорий Сокольников, – писал он, – это человек выдающихся дарований, с широким образованием и интернациональным кругозором».

Похвала от смертельного врага Сталина – это все равно, что стакан цикуты вместо чая: чуть раньше, чуть позже, но обязательно убьет.

– Этого Сталин мне не простит и обязательно отомстит, – обеспокоенно говорил он жене. – Надо знать его характер: он никогда ничего не забывает и ничего не прощает. К тому же, однажды он мне уже пригрозил, проронив, что смотри, мол, Григорий, пожалеешь, но будет поздно.

Пока же тучи над головой Сокольникова только сгущались, время удара молнии еще не настало...

Первый звонок прозвенел в сентябре 1932-го, когда, якобы «согласно его просьбе», Григория Яковлевича отозвали в Москву. В честь его отъезда Англо-Русская торговая палата устроила прощальный банкет, на котором видные промышленники, банкиры и предприниматели, забыв о британской сдержанности, произносили такие прочувствованные тосты, что, как писали на следующий день газеты: «Всем стало ясно, что Григорий Сокольников пользуется действительным уважением лондонского общества».

Нетрудно догадаться, что об этом тут же настучали Сталину. А когда Сокольников вернулся в Москву и предстал пред его очи, вместо приветствия вождь зловеще бросил:

– Говорят, Григорий, ты так полюбился господам англичанам, что они тебя отпускать не хотели. Может, тебе лучше жить с ними?

Это уже не шутка и не случайная обмолвка. Это – хорошо продуманный и жестко сформулированный приговор. Григорий Яковлевич, конечно же, вздрогнул, но выводов не сделал. Самое странное, решительных, с конкретными последствиями выводов не сделал ни один из высокопоставленных дипломатов той поры, они, как загипнотизированные, лезли в пасть удава. А ведь практически у всех была возможность, если не порвать эту пасть, то уж, по крайней мере, избежать ее острых зубов: достаточно было последовать совету Сталина и остаться в том же Лондоне, Париже или Стамбуле. Справедливости ради надо сказать, что один из них все же решился на неординарный поступок, но это будет позже, гораздо позже, когда страну зальют реки невинно пролитой крови.

Что касается Григория Сокольникова, то его даже приласкали, назначив на некоторое время заместителем наркома, а буквально через год, в соответствии с иезуитской сталинской логикой, перебросили в Наркомат лесной промышленности, предоставив пост первого заместителя наркома. Так дипломат с мировым именем стал заниматься вопросами сплава древесины, корчевания пней и вторичной переработки сучьев... Но и тут его не оставили в покое: начались проработки на партсобраниях, требования признать ошибки и покаяться в грехах, которых он не совершал. Сокольников, как мог, отбивался.

Так продолжалось до мая 1936-го, когда ни с того ни с сего Григорию Яковлевичу позвонил Сталин и спросил, есть ли у него дача. Оказалось, что нет. Тут же последовала соответствующая команда – и чуть ли не в мгновение ока в Баковке построили прекрасную дачу, куда уже в июне переехала вся семья: жена, теща, двое детей и, конечно же, сам Григорий Яковлевич.

Казалось бы, на некоторое время можно перевести дыхание и забыть о неприятностях, но внутреннее напряжение Сокольникова не отпускало: он с тревогой следил за судебными процессами над «врагами народа», многих из которых хорошо знал, и... готовился к самому худшему. Все чаще он топил печь, а на участке разводил костры: так Григорий Яковлевич уничтожал письма и документы, которые могли скомпрометировать его самого или его друзей и близких родственников.

Тогда же он начал подумывать о самоубийстве.

– Иного выхода, кроме пули в лоб, нет, – говорил он жене. – Этим я спасу тебя, а моя жизнь ничего не стоит, можно считать, что она уже прожита.

И вдруг, если так можно выразиться, новая кислородная подушка: Сталин пригласил его к себе на дачу. Уже был подписан ордер на арест, уже ждали сигнала, чтобы приступить к обыску на квартире и на даче, уже получили разрешение на арест жены и старшей дочери, а Сталин, испытывая при этом иезуитски гнусное наслаждение, поднимает бокал и пьет:

– За Сокольникова, моего старого боевого друга, одного из творцов Октябрьской революции!

Пришли за Григорием Яковлевичем 26 июля 1936 года. Потом была Лубянка, а там пытки, издевательства, карцеры, словом, весь «джентльменский» набор тогдашних чекистов. Требовали от Сокольникова одного: признания в том, что он является членом так называемого параллельного троцкистского центра, который ставил своей задачей свержение советской власти в СССР.

Процесс проходил в Доме союзов, на него даже пустили кое-кого из журналистов. Один из них, увидев Сокольникова, не без сочувствия написал: «Бледное лицо, скорбные таза, черный лондонский костюм. Он как бы носит траур по самому себе». Другой же, англичанин, видимо знавший Сокольникова в лучшие времена, был еще более откровенен: «Сокольников

производит впечатление совершенно разбитого человека. Подсудимый вяло и безучастно сознается во всем: в измене, вредительстве, подготовке террористических актов. Говорит тихо, его голос едва слышен».

30 января 1937 года огласили неожиданно мягкий приговор: Сокольников осужден по многочисленным пунктам печально известной 58-й статьи УК РСФСР и приговорен к 10-летнему тюремному заключению. Но это вовсе не значило, что он приговорен к жизни. Григория Яковлевича бросили в одну из самых лютых тюрем – Верхне-Уральский политизолятор. Дольше года там не выдерживали. Сокольников продержался два. Отчего он умер и где похоронен, не знает никто.

Зато многие знают, что Сталин последовал совету Сокольникова, что пусть, мол, сперва он завоеует доверие. Сталин доверие завоевал, да такое безграничное, что есть люди, которые до сих пор не верят, что именно он, и никто другой, был инициатором невиданных репрессий, что именно на его совести гибель миллионов ни в чем не повинных людей.

Болгарский след в русской дипломатии

Это случилось все в том же изуверском 1937 году. Избитый до полусмерти и садистски изуверченный человек попросил у следователя карандаш и неожиданно твердым голосом сказал:

– Вы требовали признаний? Сейчас они будут. Я напишу...

– Давно бы так, – усмехнулся следователь. – Но помните: «Я ни в чем не виноват» у нас не проходит. Так что пишите правду.

– Да-да, я напишу правду.

Поразительно, но эта коряво нацарапанная записка сохранилась, она подшита в дело и, не боюсь этого слова, буквально вопиет.

«До сих пор я просил лишь о помиловании, но не писал о самом деле. Теперь я напишу заявление с требованием о пересмотре моего дела, с описанием всех “тайн мадридского двора”. Пусть хоть люди, через чьи руки проходят всякие заявления, знают, как “стряпают” дурные дела и процессы из-за личной политической мести. Пусть я скоро умру, пусть я труп... Когда-нибудь и трупы заговорят».

Это «когда-нибудь» пришло. И пусть автор этих строк Христиан Раковский заговорить не сможет, о нем расскажут многочисленные документы, воспоминания друзей и, самое главное, его дела.

Быть борцом, заступником и революционером Крыстьо (это его настоящее, болгарское имя) Раковского обреч, если так можно выразиться, факт рождения. Один его родственник, Георгий Мамарчев, до конца своих дней боролся с турками, другой, Георгий Раковский, на той же почве стал национальным героем. Дело зашло так далеко, что еще подростком Христиан официально отказался от своей фамилии Станчев и стал Раковским.

Такая фамилия ко многому обязывала – и Христиан начинает действовать. В 14-летнем возрасте он учиняет бунт в гимназии, за что его тут же выгоняют на улицу. Христиан перебирается в Габрово и принимается мутить воду среди местных гимназистов, объявив себя последовательным социалистом. На этот раз его вышвырнули не только из гимназии, но и из страны, лишив права продолжать образование в Болгарии.

Пришлось молодому социалисту перебраться в Женеву и держать экзамен на медицинский факультет университета. Но даже став студентом, Христиан все время проводил не столько в лабораториях и анатомичках, сколько в подпольных редакциях и малоприметных кафе, где собирался весь цвет мятежной европейской эмиграции. Именно там Христиан познакомился с Георгием Плехановым, Верой Засулич, Карлом Каутским, Жаном Жоресом и даже с Фридрихом Энгельсом. Тогда же он начал сотрудничать в «Искре», причем с самого первого номера.

В Россию Раковский впервые приехал в 1897 году. Тогда ему было 24 года, и в Москву он отправился не столько на международный съезд врачей, сколько... жениться. Его избранницей стала Елизавета Рябова, дочь артиста императорских театров. Их брак был счастливым, но недолгим: через пять лет Елизавета во время родов скончалась.

Потом был 1905-й – год первой русской революции. Вооруженные выступления прокатились по всей стране, и все их жестоко подавили – все, кроме одного. Как писали в те годы газеты: «Непобежденной территорией революции был и остается броненосец “Потемкин”». Как вы, наверное, помните, все началось с борща, приготовленного из червивого мяса, потом – расправа над наиболее ненавистными офицерами, заход в Одессу, похороны погибшего руководителя восстания, прорыв через прибывшую из Севастополя эскадру и вынужденная швартовка в румынской Констанце.

Если бы румынские власти выдали матросов царским властям, всех их непременно бы расстреляли. Так бы, наверное, и было, если бы не Раковский. Он организовывал митинги в защиту матросов, публикуя зажигательные статьи, поднял на ноги всю прогрессивную Европу, выводил на улицы тысячи демонстрантов – и румынские власти сдались: они разрешили сойти на берег 700 матросам, а броненосец вернули России. Несколько позже Раковский написал книгу о событиях, связанных с «Потемкиным»: именно она легла в основу сценария всемирно известного фильма Эйзенштейна.

На эти же годы приходится событие, сыгравшее в его судьбе роковую роль: Раковский познакомился и близко сошелся с Троцким. Они стали такими закадычными друзьями, что посвящали друг другу книги. На титульном листе одной из них Троцкий, в частности, написал: «Христиану Георгиевичу Раковскому, борцу, человеку, другу, посвящаю эту книгу». А в разгар Первой мировой войны, после одной из встреч в Швейцарии, Троцкий посвятил старому другу целую статью.

«Раковский – одна из наиболее “интернациональных” фигур в европейском движении. Болгарин по происхождению, но румынский подданный, французский врач по образованию, но русский интеллигент по связям, симпатиям и литературной работе, Раковский владеет всеми балканскими языками и тремя европейскими, активно участвует во внутренней жизни четырех социалистических партий – болгарской, русской, французской и румынской», – писал он в газете «Бернская стража».

Несколько позже, в 1922-м, когда Троцкий был на пике всевластия и популярности, в одном из выступлений он сказал:

– Исторической судьбе было угодно, чтобы Раковский, болгарин по происхождению, француз и русский по общему политическому воспитанию, румынский гражданин по паспорту, оказался главой правительства в Советской Украине.

Да-да, не удивляйтесь, в 1917-м Раковский окончательно перебрался в Россию, стал большевиком, комиссаром отряда знаменитого матроса Железнякова, того самого Железнякова, который практически разогнал Учредительное собрание, а затем сражался против деникинцев и был смертельно ранен при выходе из окружения.

А дипломатом Раковский чуть было не стал еще в конце

1918-го. Дело в том, что как раз в это время в Германии произошла так называемая Ноябрьская революция и был объявлен съезд Советов Германии. Ленин тут же решил направить на съезд делегацию, в состав которой вошел и Раковский. Так случилось, что делегацию перехватили верные кайзеру офицеры, и ленинских посланцев чуть было не расстреляли. Когда с германской революцией было покончено, Раковского назначили полпредом в Вену. Австрийские власти агреман дали, но немцы отказались пропустить его через свою территорию – и до Вены он не добрался.

Так как Гражданская война была в самом разгаре, Раковского в качестве члена Реввоенсовета бросают то на Южный, то на ЮгоЗападный фронт, где он рука об руку воюет с Михаилом Фрунзе и будущим маршалом Советского Союза Александром Егоровым. А председателем Совнаркома Украины Раковский стал в январе

1919-го и оставался на этом посту до 1923-го. Но еще в 1922-м его включили в состав делегации, отправлявшейся на Генуэзскую конференцию. Вскоре после ее завершения Раковского назначают заместителем наркома иностранных дел и тут же в качестве полпреда отправляют в Лондон.

Отношения с Англией тогда были прескверные. Одной из главных проблем, которая мешала установлению взаимовыгодных отношений, были долги царской России. Поначалу советское правительство отказывалось признать эти долги: рабочий класс, мол, у английских буржуев никаких денег не брал, а что касается национализированной собственности, то все эти фабрики и заводы построены руками русских рабочих и по праву принадлежат народу,

а не британским держателям акций. Тогда Лондон дал понять, что ни о каком признании СССР де-юре не может быть и речи. Советский Союз превратится в страну-изгоя, с которой никто не станет ни торговать, ни под держивать дипломатические отношения.

В этот-то момент и появился в Лондоне Христиан Раковский. Вот как описывали его первый «выход в свет» тогдашние газеты:

«Войдя в зал, Раковский приковал к себе взгляды всего общества. Он был действительно обаятельным человеком, вызывая симпатию своими манерами и благородной осанкой. Его сразу же окружили писатели, журналисты, люди науки, искусства, политические деятели, дипломаты. С каждым он говорил на соответствующем языке – английском, французском, немецком или румынском. Отвечал на вопросы с легкостью, когда – дипломатично, когда – сдержанно, когда – с некоторой иронией. Собравшиеся ожидали увидеть неотесанного большевика, а Раковский всех поразил эрудицией, изяществом, благородством, образованностью и высокой культурой».

За первым «выходом в свет» последовал второй, третий, потом – душевные беседы с политиками, банкирами и предпринимателями. В итоге проблему долгов уладили, а Советский Союз признали де-юре. Это была победа, большая победа молодой советской дипломатии! «Известия» тут же отметили заслуги Раковского. Да что там «Известия», английский историк Карр и тот не удержался, назвав Раковского «лучшим дипломатом 1920-х годов».

Когда стало ясно, что взаимоотношения с Англией пошли на лад, дошел черед и до Франции. Всем было ясно, что никто, кроме Раковского, решить проблему взаимоотношений с Францией не сможет, и в октябре 1925-го его перебрасывают в Париж. Два года провел он во Франции, за это время его близкими друзьями стали Марсель Кашен, Луи Арагон, Анри Барбюс, Эльза Триоле, Жорж Садуль, Эрнест Хемингуэй и многие другие всемирно известные деятели культуры. Что касается политиков, то общий язык Раковский нашел и с ними: во всяком случае, все проблемы взаимоотношений между Москвой и Парижем были урегулированы.

В 1927-м Христиан Георгиевич возвращается в Москву и тут же ввязывается в дискуссию, связанную с критикой сталинских методов руководства страной и партией. Он выступает на митингах, собраниях и даже на XV съезде партии, утверждая, что «только режим внутрипартийной демократии может обеспечить выработку правильной линии партии и укрепить ее связь с рабочим классом». Ему тут же приклеили ярлык «внутрипартийного оппозиционера», из партии исключили и сослали в Астрахань.

Пять лет молчания, пять лет вынужденного безделья и, наконец, в 1934-м Раковский решил покаяться: он отправляет в ЦК письмо, в котором заявляет, что «признает генеральную линию партии и готов отдать все силы для защиты Советского Союза». Как ни странно, письмо опубликовали в «Известиях» – и вскоре Раковского восстановили в партии и даже назначили председателем Всесоюзного Красного Креста, можно сказать, что по специальности: по образованию-то он врач. Некоторое время он был невыездным, но через пару лет во главе официальной делегации Христиан Георгиевич побывал в Японии.

К делам дипломатическим Раковского не подпускали, поэтому он пребывал в полнейшем недоумении. «Где наркомздрав – и где Япония? Почему туда еду я, а не нарком?» – думал он.

Прояснилось это довольно быстро, в том самом Доме союзов, где проходил судебный процесс над правотроцкистским блоком, активным участником которого, кроме Бухарина, Рыкова и многих других, был Христиан Раковский. Тогда его объявили английским шпионом – это потому, что был полпредом в Лондоне, и японским шпионом – потому что ездил туда с делегацией. Так и хочется спросить: не специально или его посылали в Японию, чтобы затем пришить обвинение в шпионаже?

Об обвинениях в троцкизме и говорить не приходится: похвально-восторженные статьи Троцкого о «друге, человеке и борце» были у всех на слуху.

Восемь месяцев шло следствие, восемь месяцев Раковский не признавал себя виновным, а потом попросил карандаш и нацарапал ту самую записку, в которой требовал пересмотра своего дела и обещал рассказать, как «стряпают» дурные дела... Судя по всему, после этого он попал в руки заплечных дел мастеров: на суде его было не узнать. Но вот что больше всего поразило: в последнем слове Раковский признал себя виновным буквально во всем. И закончил свою речь весьма загадочно.

– Считаю долгом, – сказал он, – помочь своим признанием борьбе против фашизма.

При чем тут фашизм? Как его признание может помочь этой борьбе?

Чем может повредить Гитлеру его покаянное заявление о том, что является англо-японским шпионом и стремился к свержению существующего в СССР строя? Понять это невозможно... Единственное более или менее разумное объяснение – обещание более мягкого приговора. Так оно, впрочем, и случилось. Раковскому дали не «вышку», а 20 лет лишения свободы, бросив в печально известный Орловский централ.

Уже в первые месяцы Отечественной войны встал вопрос, что делать с заключенными, находившимися в Орловском центре: немцы все ближе и, чего доброго, могут их освободить. Берия предложил радикальное решение, а Сталин его поддержал: уголовников перевести в уральские и сибирские лагеря – несколько позже они станут прекрасным материалом для штрафбатов, а политических – расстрелять.

Чтобы соблюсти формальность, 8 сентября дела политических заочно, списком, были пересмотрены, всех их приговорили к расстрелу и 3 октября приговор привели в исполнение. Одним из первых пулю палача получил Христиан Георгиевич Раковский – тот самый Раковский, который был автором первых побед советской дипломатии и в европейских столицах считался лучшим дипломатом 1920-х годов.

«Предпочитаю жить на хлебе и воде, но на свободе»

Эти слова принадлежат человеку, который, в отличие от других высокопоставленных дипломатов, не пошел на добровольное заклание, не согласился играть роль шпиона и врага народа, не принес себя в жертву ради интересов сталинского режима, а совершил тот самый неординарный поступок, на который не решился ни один дипломат. Когда он узнал, что его уволили с поста полпреда в Болгарии и требуют немедленного отъезда в Москву, Федор Раскольников отказался возвращаться в СССР и остался за границей.

Почему он решился на этот шаг, бывший полпред объяснил в письме «Как меня сделали “врагом народа”», которое было опубликовано в западных газетах в июле 1939 года.

«Еще в конце 1936 года, когда я был полномочным представителем СССР в Болгарии, народный комиссар иностранных дел предложил мне должность полпреда в Мексике, с которой у нас даже не было дипломатических отношений. Ввиду несерьезного характера этого предложения, оно было мною отклонено. После этого в первой половине 1937 года мне последовательно были предложены Чехословакия и Греция. Удовлетворенный своим пребыванием в Болгарии, я от этих предложений отказался.

Тогда, 5 июля 1937 года, я получил телеграмму от народного комиссара, который, по требованию правительства, приглашал меня немедленно выехать в Москву для переговоров о новом, более ответственном назначении: народный комиссар писал о моем предполагаемом назначении в Турцию. 1 апреля 1938 года я выехал из Софии в Москву, о чем в тот же день по телеграфу уведомил народный комиссариат иностранных дел.

Через четыре дня, 5 апреля 1938 года, когда я еще не успел доехать до советской границы, в Москве потеряли терпение и во время моего пребывания в пути скандально уволили меня с занимаемого поста полномочного представителя в Болгарии, о чем я, к своему удивлению, узнал из иностранных газет.

Я – человек политически грамотный, и понимаю, что это значит, когда кого-либо снимают в пожарном порядке и сообщают об этом по радио на весь мир. После этого мне стало ясно, что по переезде границы я буду немедленно арестован. Мне стало ясно, что я, как многие старые большевики, оказался без вины виноватым, а все предложения ответственных постов от Мексики до Анкары были западней, средством заманить меня в Москву.

Сейчас я узнал из газет о состоявшейся 17 июля комедии заочного суда: меня объявили вне закона. Это постановление бросает яркий свет на методы сталинской юстиции, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные “враги народа” и какие основания достаточны Верховному суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания.

Объявление меня вне закона продиктовано слепой яростью на человека, который отказался безропотно сложить голову на плахе и осмелился защищать свою жизнь, свободу и честь».

Это письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы! На Западе, конечно же, знали о разгулявшейся в Советском Союзе кровавой вакханалии, но так как некоторые процессы были открытыми и все подсудимые признавали себя виновными в шпионской, подрывной и иной антигосударственной деятельности, создавалось впечатление, что в СССР на самом деле существуют какие-то подпольные организации, стремящиеся к свержению существующего строя, а на самых серьезных постах угнездились вероломные враги народа. И вдруг выясняется, что никаких врагов народа нет, что все эти процессы – чистой воды спектакли и что главный режиссер сидит в Кремле!

Удар по репутации или, как теперь принято говорить, имиджу Сталина был нанесен колоссальный. Так кто же он, этот отчаянный храбрец, решившийся на такой поразитель-

ный поступок? Где он взял силы, чтобы бросить вызов всеильному и не знающему пощады вождю народов? А ведь это письмо было всего лишь первым шагом Раскольников в неприимой борьбе с опьяневшим от крови, как тогда его называли, хозяином. Следующий шаг будет куда более серьезным, сокрушительным и срывающим покров добропорядочности и человечности как с самого Сталина, так и с физиономий его ближайших приспешников. Но об этом позже...

А пока познакомьтесь с Федором Раскольниковым, который на самом деле никакой не Раскольников, а Ильин, хотя по большому счету должен быть Сергеевым. Дело в том, что его мать, Антонина Ильина, со своим мужем протопресвитером собора «всея артиллерии» Федором Сергеевым жила в гражданском бр^ке, и их дети, Федор и Александр, считались незаконнорожденными. Вот и пришлось ребятам носить фамилию матери. А Раскольниковым Федор стал во время пребывания в приюте принца Ольденбургского, который обладал правами реального училища: так его прозвали однокашники за худобу, костлявость, длинные волосы и широкополую шляпу – все, как у героя Достоевского.

С этим прозвищем, ставшим его фамилией, Федор поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт. Зная о его низком происхождении, студенты-белоподкладочники с ним не общались, вот и пришлось Федору искать выходы на простолюдинов-большепевиков. Нашел, начать сотрудничать в «Правде» и даже стал секретарем ее редакции. Но счастье было недолгим: буквально через месяц его арестовали, судили, приговорили к трем годам ссылки и отправили в Архангельскую губернию. И тут ему крупно повезло: в 1913-м, в связи с трехсотлетием Дома Романовых, он попал под амнистию.

В первые же месяцы мировой войны его призвали в армию и, как человека, имеющего незаконченное высшее образование, определили на Отдельные гардемаринские курсы, где готовили мичманов русского флота. И надо же так случиться, что выпускные экзамены пришлось на дни Февральской революции! Митинги, шествия, демонстрации, опьянение свободой – через все это в полной мере прошел новоиспеченный мичман Раскольников. А потом он разыскал редакцию «Правды» – и начал строчить антивоенные статьи. Но вскоре его направляют в Кронштадт, где он редактирует газету «Голос правды».

Это было время, когда матросская братва начала бузить. Выходы из Балтийского моря были закрыты, принимать участия в боевых действиях флот не мог, вот и начали братишки от безделья собираться на Якорной площади, где большевики убеждали их в том, что они хозяева жизни, что буржуйское добро надо отобрать и поделить, а в министерские кресла посадить тех, кого выберут они, матросы Балтийского флота и их закадычные друзья, окопные солдаты и петроградские рабочие.

Чтобы эти слова были не только услышаны, но и дошли до сердец и душ матросской братвы, требовались изощренные ораторы, причем не в рабочих тужурках или добротных пиджаках, а во флотских бушлатах, то есть свои, родные люди, знающие, что такое матросская служба.

В этой ситуации мичман Раскольников пришелся как нельзя кстати. Он знал матросский жаргон, сидел в тюрьме, побывал в ссылке, в соответствии со своей новой фамилией, был иступлен, яростен и неистов – короче говоря, он стал самым популярным оратором и любимцем кронштадтской братвы. Поэтому нет ничего удивительно в том, что матросы единогласно избрали его своим командиром, когда понадобилось идти под Пулково и сражаться с частями генерала Краснова, как, впрочем, и позже, когда отряд под командованием Раскольникова помогал выбивать юнкеров из Московского Кремля.

А вскоре возникла ситуация, в которой Раскольников проявил себя как опытный и мудрый флотоводец. Напомню, что в соответствии с только что подписанным Брестским миром Советская Россия должна была перевести все военные корабли в свои порты и немедленно их разоружить. Основной базой тогда был Гельсингфорс (нынешние Хельсинки), и почти

весь Балтийский флот стоял там. Трещали небывалые морозы, лед достигал метровой толщины, приближались белофинны и вот-вот могли захватить корабли.

До Кронштадта 330 километров, крейсера и линкоры самостоятельно пробиться не могут – и тогда на помощь пришел легендарный ледокол «Ермак». Сначала он вывел два линкора и три крейсера, потом еще два линкора, потом подводные лодки, потом еще, еще и еще... В итоге Раскольников сумел перебазировать в Кронштадт 236 кораблей, в том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок и множество других кораблей. Именно эти силы впоследствии стали основой возрожденного Балтийского флота.

А вот на юге, на Черном море, судьба распорядилась по-другому, и Раскольникову выпала доля не спасителя, а губителя Черноморского флота. Дело в том, что в июне 1918 года немцы захватили Севастополь и потребовали, чтобы все корабли, стоявшие в Новороссийске, были возвращены в Севастополь и переданы германскому командованию. Иначе – немецкое наступление на Москву и Петроград. Официально Совнарком с требованиями немцев согласился, а тайно приказал корабли затопить.

Матросы взбунтовались! Как это, своими руками пустить на дно гордость русского флота?! Тут же за борт полетели комиссары и большевистские ораторы. И только Раскольников, популярнейший среди матросской братвы Раскольников, смог убедить взбунтовавшихся матросов, что пусть лучше могучие линкоры и красавцы-крейсера лежат на дне Цемесской бухты, нежели через неделю-другую немцы станут палить из их орудий по нашим же головам.

Открыв кингстоны и подняв на мачтах полотнища флажной сигнализации «Погибаю, но не сдаюсь», матросы высадились на берег и со слезами на глазах смотрели, как шли на дно великолепные боевые корабли...

Не успел Раскольников добраться до Москвы, как тут же получил новое назначение: он стал командиром Волжской военной флотилии. К кое-как переоборудованным и слабо вооруженным катерам, буксирам и танкерам он ухитрился прибавить три миноносца, которые пригнал с Балтики. Этого никак не ожидал адмирал Старк, который противостоял Раскольникову. Мичман против адмирала – такого в истории флота еще не было! И, как это ни странно, победил мичман.

В эти месяцы Раскольников был на подъеме. У него все получалось, враг от него бежал, вся Волга была очищена от белых. Но самое главное, он страстно любил и так же горячо был любим! Его женой и правой рукой в военных делах стала популярнейшая среди матросов Лариса Рейснер. Полуполька-полунемка, она слыла крепким журналистом, революцию приняла с восторгом, сидеть в редакциях не хотела и предпочитала носить не столько карандаш в кармане, сколько маузер на боку.

До самой ее кончины в 1926 году эта красивая пара будет жить, не расставаясь ни на минуту, исключая пребывание Раскольникова в английском плену. История, по большому счету, нелепейшая. Когда на эсминце «Спартак» Раскольников вышел в море, откуда ни возьмись, на эсминец навалились пять английских крейсеров. Скоротечный бой, «Спартак» потерял ход – и вся команда оказалась у англичан. Раскольникова бросили в Брикстонскую тюрьму, но не надолго. Ленин так высоко ценил Раскольникова, что согласился его обменять на 17 пленных английских офицеров. Запросили бы 30, он отдал бы и 30, но больше в его распоряжении не было.

Вернувшись, Раскольников снова принял под свое командование флотилию и провел несколько блестящих операций на Каспийском море. Быть бы ему со временем адмиралом, а то и Главкомом всего военно-морского флота, если бы не острейший голод на кадры в Наркоминделе. Ну, некого было направить полпредом в Афганистан, и все тут! Ничего лучшего не придумали, как перевести в наркоминдел командующего Балтийским флотом Раскольникова и назначить его полпредом РСФСР в Афганистане, где о море никто и слыхом не слыхивал.

Так Федор Раскольников стал дипломатом. В Кабуле он пробыл всего два года и в декабре 1923 года вернулся в Москву. Семь лет он был вне большой политики: то редактировал журналы, то возглавлял издательства, то ведал Главреперткомом и, самое главное, писал книги, сочинял пьесы, печатал статьи памфлеты. Вспомнили о нем лишь в 1930-м. Сперва Раскольникова назначили полпредом в Эстонии, потом перевели в Данию и, наконец, в Болгарию. Там-то с ним и случилось то, что случилось.

Итак, Раскольников не захотел идти на добровольное заклятие, отказался изображать из себя врага народа и остался на Западе. Как я уже говорил, в июле 1939-го он публикует письмо «Как меня сделали “врагом народа”», которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но эта бомба была детской хлопушкой по сравнению с «Открытым письмом Сталину», появившимся в августе того же года. В России об этом письме стало известно сравнительно недавно, его бы стоило напечатать полностью, но оно столь пространно, что я приведу лишь отдельные фрагменты этого уникального документа.

«Сталин, вы объявили меня “вне закона”. Этим актом вы уравнили меня в правах – точнее, в бесправии – со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона, – вот так, с первых строк, ставит все на свое место Раскольников. – Ваш “социализм”, при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата...

Что вы сделали с конституцией, Сталин? Вы растоптали конституцию как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру... Вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем “эпохи террора”. Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады.

Над гробом Ленина вы произнесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить как зеницу ока единство партии. Клятвопреступник, вы нарушили и это завещание Ленина. Вы оболгали, обесчестили и расстреляли Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и других, невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы... Вы растлили и загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с мукой отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные и нужные стране. Накануне войны вы разрушаете Красную Армию и Красный Флот. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.

Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры. Лицемерно провозглашая интеллигенцию “солью земли”, вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает.

Зная, что при вашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла почти весь аппарат народного комиссариата иностранных дел. Вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов.

Бесконечен список ваших преступлений. Бесконечен список имен ваших жертв! Нет возможности все перечислить. Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».

Представляете, что было бы в стране, если бы это письмо напечатали в «Правде», «Известиях» или «Труде»? На Западе, хоть и с оторопью, но письмо печатали. Прозрела вся Европа, прозрела Азия и Америка, прозрели все, кроме многострадальных, замороженных, затурканных и запуганных граждан Советского Союза. Они еще долго молились на сочащую кровью усатую икону, послушно голодали, с готовностью заполняли бараки лагерей и камеры тюрем, а если вождь настаивал, безропотно шли под пули палача.

И все же настало время, когда, как и предсказывал Раскольников, годы правления Сталина были названы эпохой террора. Федор Раскольников до этой поры, к сожалению, не дожил. Одно утешение: Сталин взбунтовавшегося дипломата не «достал», и его мерзкое чувство мести осталось неудовлетворенным. Находясь в Ницце, в сентябре 1939-го Раскольников заболел: у него началось воспаление легких с осложнением на мозг. 12 сентября его не стало.

Пробыл на этом свете Федор Раскольников недолго – всего-то сорок семь лет. Но каких лет! В его жизни было все – горестное детство, бурная юность, революция, война, плен, поражения, победы, любовь, дипломатические успехи, предательства, безоглядная вера в дело, которому служил, и то, чего не было ни у кого: он решился на такой смелый поступок, которого не смог совершить ни один его современник, он сбросил ярмо сталинского рабства и стал свободным. А счастья выше этого в подлунном мире нет и быть не может!

Крестный путь Якова Джугашвили

Когда говорят о жертвах тоталитарного режима, то почему-то забывают, что Сталин был убийственно последователен: он уничтожал не только ни в чем не повинных совершенно незнакомых ему людей, но и членов своей семьи. То ли застрелилась, то ли была убита его жена Надежда Аллилуева, затем были репрессированы все ее родственники. Покончив с Аллилуевыми, Сталин взялся за родственников по линии своей первой жены Екатерины Сванидзе – они тоже были уничтожены.

Но одну из самых больших подлостей Сталин совершил по отношению к своему старшему сыну Якову. Всем известно, что старший лейтенант Джугашвили в июле 1941 – го попал в плен, вел себя там достойно, а когда немцы предложили обменять его на фельдмаршала Паулюса, Сталин произнес облетевшие весь мир слова: «Солдата на фельдмаршала не меняю!», чем приговорил сына к смерти – в апреле 1943-го он погиб в печально известном Заксенхаузене.

О смерти Якова Джугашвили написано и рассказано немало, но лишь недавно достоянием гласности стали папки Главного управления контрразведки, больше известного под названием «Смерш», в которых хранится «Дело со справками, письмами, протоколами и другими документами о пребывании в немецком плену и гибели Якова Иосифовича Джугашвили». Кроме этих материалов мне удалось ознакомиться с документами из личного архива Сталина, публикациями в западных газетах и воспоминаниями людей, которые находились в одном лагере с Яковым.

Итак, 16 июля 1941 года Яков Джугашвили попал в плен. В суматохе отступления из-под Витебска, где в окружение попали 16-я, 19-я и 20-я армии, командира 6-й батареи старшего лейтенанта Джугашвили хватились не сразу. Л когда оказалось, что среди вырвавшихся из окружения Джугашвили нет, генералы не на шутку испугались. В тот же день из Ставки пришла шифровка: «Жуков приказал немедленно выяснить и донести в штаб, где находится старший лейтенант Джугашвили».

Поиски, организованные специально созданной группой, ничего не дали. Нашли, правда, бойца, вместе с которым Джугашвили выходил из окружения. Красноармеец Лопуридзе сообщил, что еще 14 июля они переоделись в крестьянскую одежду и закопали свои документы. Потом Лопуридзе двинулся дальше, а Джугашвили присел отдохнуть. Немцев поблизости не было, и Лопуридзе не сомневался, что старший лейтенант вышел к своим. Сообщение Лопуридзе вселило надежду, что Яков среди своих, и в Москву полетели успокаивающие телеграммы.

Но Москва уже знала, что искать Джугашвили надо не среди своих, а среди пленных, оказавшихся у немцев. 20 июля немецкое радио сообщило потрясшую кремлевские кабинеты новость: сын Сталина – пленник фельдмаршала фон Клюге. В тот же день эту новость продублировала нацистская газета «Фелькишер беобахтер»:

«Из штаба фельдмаршала фон Клюге поступило сообщение, что 16 июля под Лиозно, что юго-западнее Витебска, солдатами моторизованного корпуса генерала Шмидта захвачен в плен сын кремлевского диктатора Сталина старший лейтенант Яков Джугашвили, командир артиллерийской батареи из седьмого стрелкового корпуса генерала Виноградова. Будучи опознанным, Яков Джугашвили вечером 18 июля доставлен самолетом в штаб фельдмаршала фон Клюге. Сейчас ведется допрос пленника».

Допрашивали Якова майор Гольтерс и капитан Ройшле. Они задали сто пятьдесят вопросов – так что допрос продолжался не один час.

Надо сказать, что немцы вели себя вполне корректно, на пленного не давили, а порой откровенно жалели и даже пытались, если так можно выразиться, хоть немного просветить:

как оказалось, Джугашвили ничего не знал об обстановке на фронтах. Но, прежде всего, надо было убедиться, тот ли это человек, за которого себя выдает. Именно поэтому первым документом, который улетел в Берлин, было краткое донесение, подписанное Гольтерсом, Ройшле и... Джугашвили.

«Так как у военнопленного не обнаружено никаких документов, а Джугашвили выдает себя за старшего сына Сталина, ему было предложено подписать прилагаемое при этом заявление в двух экземплярах. На предъявленной Д. фотокарточке он сразу же опознал своего отца в молодые годы. Д. учился в артиллерийской академии, которую закончил за 2,5 года вместо пяти. Д. производит впечатление вполне интеллигентного человека. Войну начал 24 июня 1941 года старшим лейтенантом и командиром батареи».

Протоколы допросов, которые все эти годы хранились в личном архиве Сталина, настолько красноречивы, что нельзя не привести хотя бы некоторые отрывки, что я несколько позже и сделаю.

А тогда старый пройдоха Ройшле ухитрился спрятать микрофон в ворохе лежащих на столе бумаг и записал достаточно откровенные ответы Якова на пленку, а потом так хитро смонтировал запись, что Яков предстал неистовым обличителем сталинского режима.

Эту пленку крутили на передовой – и голос сына Сталина слышали советские солдаты. В то же время немецкие самолеты сбрасывали на их головы листовки с призывом сына Сталина следовать его примеру и сдаваться в плен, «потому что всякое сопротивление германской армии отныне бесполезно».

Чтобы не было сомнений, что в их руках действительно сын Сталина, немцы сделали серию фотографий Джугашвили в окружении германских офицеров – и тоже сбросили на передовой. А нацистские газеты опубликовали собственноручное заявление столь необычного пленника:

«Я, нижеподписавшийся Яков Иосифович Джугашвили, являюсь старшим сыном Председателя Совнаркома СССР от первого брака с Екатериной Сванидзе. 16 июля 1941 года около Лиезны я попал в немецкий плен, перед пленением уничтожил свои документы. Мой отец Иосиф Джугашвили носит также фамилию Сталин. Я заявляю настоящим, что указанные выше данные являются правдивыми».

Но вернемся к протоколам допросов. Как я уже говорил, все эти годы они хранились в личном архиве Сталина, и никто о них ничего не знал. Но сегодня гриф секретности с этих документов снят, и они настолько уникальны, что нельзя не привести хотя бы некоторые отрывки. Так как ничего путного о действиях Верховного командования Красной Армии Яков сообщить не мог – об этом он просто ничего не знал, Ройшле перешел к вопросам личного и общеполитического характера.

– Вы добровольно перешли к нам или были захвачены в бою?

– Нет, не добровольно. Я был вынужден, мне просто некуда было деваться.

– А почему вы, офицер, переоделись в гражданскую одежду?

– Я рассчитывал под видом беженца пробраться к своим.

– В каких боях вам довелось участвовать?

– В одном, всего в одном. Но я не знаю, как называлась эта деревня.

– Почему?

– Потому что у меня не было карты. Их вообще ни у кого нет!

– У офицеров нет карт?!

– Представьте себе, нет. У нас все делалось безалаберно и глупо, и наши марши, и наша организация – все безалаберно и глупо. А командование было таким идиотским, что зачастую наши части ставили прямо под огонь – либо ваш, либо наш.

– Как такое возможно?

– Еще как возможно! Дивизия, в которую я был зачислен, считалась хорошей. В действительности же она оказалась совершенно неподготовленной к войне.

– И в чем, по-вашему, причина плохой боеспособности Красной Армии?

– Главная причина – немецкие пикирующие бомбардировщики. Еще, как я уже говорил, неумные, можно сказать, идиотские действия нашего командования.

– Как обращались с вами наши солдаты?

– Я бы сказал, неплохо... Вот только сапоги зачем-то сняли.

– После того, что вы узнали о боеспособности немецких дивизий, вы все еще думаете, что Красная Армия может оказать такое сопротивление, которое изменило бы ход войны?

– Видите ли, у меня нет полноценных данных ни о ваших резервах, ни о стойкости ваших солдат. Так что ничего определенного я не могу сказать. И все же лично я думаю, что борьба еще будет, что главное в этой войне – впереди.

– Знаете ли вы, что Финляндия, Румыния, Венгрия и Словакия также объявили войну Советскому Союзу?

– Ну и что?! Тоже мне, вояки. Все это ерунда (смеясь). Что это, вообще, за государства? Главное – это Германия, а все остальные – чепуха.

– Известна ли вам, господин старший лейтенант, позиция национал-социалистской Германии по отношению к еврейству? Как вы можете объяснить тот факт, что теперешнее московское правительство состоит главным образом из евреев? Выскажется ли когда-нибудь русский народ против евреев?

– Все это ерунда. Болтовня. Евреи у нас не имеют никакого влияния. Напротив, я лично, если хотите, со всей ответственностью могу сказать, что русский народ всегда питал ненависть к евреям.

– Не поэтому ли в тех городах и селах, через которые мы прошли, везде и всюду люди говорят: евреи – наше несчастье, и все беды от них?

– А я о чем говорю! Причина этой ненависти в том, что евреи и, кстати говоря, цыгане не умеют и не хотят работать. Главное, с их точки зрения, торговля. Вы удивитесь, но, зная о том, как относятся к евреям в Германии, наши евреи говорят, что в Германии им было бы лучше, потому что там разрешена частная торговля. Пусть и бьют, но зато разрешают торговать. Каково, а?! Быть рабочим или крестьянином еврей у нас не хочет, это, видите ли, не престижно. Как же после этого их можно уважать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.